

**ИСТОРИЯ РУССКОГО ФОРМАЛИЗМА  
КАК ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГАЗЕТНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФАКТ:  
("ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ", "ЮГО-ЗАПАД", "ФАБУЛА И СЮЖЕТ"  
В "ТЕОРИИ ПРОЗЫ" В.Б. ШКЛОВСКОГО)  
СТАТЬЯ II<sup>1</sup>**

© 2018 г. Л. Ф. Кацис

Доктор филологических наук, профессор учебно-научного центра библеистики и иудаики, заведующий учебно-научной лабораторией мандельштамоведения Российского государственного гуманитарного университета, Россия, 111399, Москва, ул. Чайнова, д. 15  
batya-94@mail.ru

*Дата поступления материала в редакцию 18 июня 2017 г.*

**A HISTORY OF THE RUSSIAN FORMALISM  
AS A PROVINCIAL NEWSPAPER / LITERARY FACT:  
("THE HAMBURG SCORE", "THE SOUTH-WEST", "FABULA AND PLOT"  
IN THE "PROZE THEORY" BY VIKTOR B. SHKLOVSKY)  
ARTICLE II**

© 2018 Leonid F. Katsis

Doctor of Philological Sciences, Professor of the Educational and Scholarly Center for Biblical Studies and Judaica, Head of the Scientific Research Laboratory of Mandelstam Studies of the Russian State University for the Humanities, Chayanova str. 15, Moscow, 111399, Russia  
batya-94@mail.ru

*Received by Editor on June 18, 2017.*

В настоящей статье, состоящей из двух глав, последовательно рассматриваются газетные источники статьи В.Б. Шкловского "Юго-Запад" и теоретической концепции того же автора о соотношении "сюжета" и "фабулы" литературного произведения. В первой главе специальное внимание уделяется связи образа "левантийца" из "Юго-Запада" с псевдонимными статьями В.Е. Жаботинского в газете "Керчь-Феодосийский курьер" о человеке Леванта и его культуре; соотношение "босяков" М. Горького и "казаков" И. Бабеля сопоставляется со статьей Жаботинского в "Руси", где сравнивались те же "босяки" Горького с "евреями" важного предшественника "Юго-Западной школы" С. Юшкевича. В качестве непосредственного повода к написанию "Юго-Запада" рассматривается статья Н. Ушакова в "Вечернем Киеве" 1928 г., отвечавшая, как показывает автор, на статью Шкловского 1924 г. "Светила, вращающиеся вокруг спутников..." (вошла в "Гамбургский счет"). Во второй главе соотношение между "сюжетом" и "фабулой" в работах В.Б. Шкловского второй половины 1910-х гг. вслед за М.Я. Вайскопфом сопоставляется со статьей "Фабула" В.Е. Жаботинского из "Русских ведомостей" 1916 г. с углублением в его же статьи в "Одесских новостях" 1903 г., посвященные "сюжету" и "выдумке". Показывается, что эти статьи очевидным образом предшествуют "Фабуле". Все указанные наблюдения суммируются в анализе фигуры П. Сторицына, рассказы которого, по мнению В. Шкловского в "Гамбургском счете", легли в основу рассказов Бабеля.

The present article containing two chapters, consistently considers the newspaper sources for V.B. Shklovsky's article "The Southwest" and his theoretical concept on the relationship between "fable" and "plot" of the literary work. In Chapter 1, special attention is paid to the connection between the image of the "Levantine" from the "South-West" by V.B. Shklovsky and the pseudonym articles by V.E. Jabotinsky from the "Kerch-Theodosius Courier" newspaper (1910–1911), concerning the man of the Levant and his cultures; the ratio of "Tramps" from Maxim Gorky's stories

<sup>1</sup> Первую статью см.: Кацис Л.Ф. История русского формализма как провинциальный газетно-литературный факт. Статья I. "Гамбургский счет" на фоне "Киевской мысли" // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2018. Т. 77. № 2. С. 37–49.

and plays and “Cossacks” from I. Babel’s “Hors Army” are compared with the article by V. Jabotinsky from the newspaper “Rus” (1908), that compared the same “Tramps” by Gorky and the “Jews” from the stories by an important predecessor of the “Southwest School” – S. Yushkevich. It is important that their titles are the same as in Babel’s stories. As an immediate reason for writing the “Southwest”, the article by N. Ushakov in the “Evening Kiev”, 1928, is considered. According to the author, it responded to the article by V.B. Shklovsky, 1924, “Luminaries revolving around satellites...”, which was included in the so-called “Hamburg score”. Chapter 2 is dedicated to the relationship between the “fable” and “plot” of V.B. Shklovsky’s theories belonging to the second half of the 1910s. After M. Weisskopf, the author compares this texts of 1917 with the article “Fable” by V. Zhabotinsky from the “Russian Gazette”, 1916, by reading deep into the articles by V. Zhabotinsky published in 1903 in the “Odessa News” and devoted to the relationship between “plot” and “fiction”. It is shown that these articles clearly precede the “Fable”. All these observations from the first and the second parts of the article are summarized in the analysis of the figure of P. Storitsyn, whose stories, according to V. Shklovsky in the “Hamburg Account”, formed the basis for Babel’s stories.

*Ключевые слова:* В.Б. Шкловский, “Юго-Запад”, “сюжет” и “фабула”, В.Е. Жаботинский, “Керчь-Феодосийский курьер”, “Русь”, человек Леванта, Н. Ушаков, Э. Багрицкий, “босяки” М. Горького, С. Юшкевич, П. Сторицын.

*Keywords:* V.B. Shklovsky, “fable” and “plot”, V.E. Jabotinsky, “Kerch-Theodosius Courier”, “Rus”, the man of the Levant, N. Ushakov, E. Bagritsky, the “tramps” by Gorky, S. Yushkevich, P. Storitsyn.

DOI: 10.31857/S241377150001112-6

### 1. “Юго-Запад” В. Шкловского на фоне В. Жаботинского “Руси” и “Керчь-Феодосийского курьера” 1900–1910-х гг.

Ярким примером воздействия газетной полемики на послереволюционный этап развития Виктора Шкловского является история его знаменитой статьи “Юго-Запад”, где была предложена история так наз. Юго-Западной школы, а главное, давался генезис литературной судьбы Исаака Бабеля. Вот этот текст:

#### “ЮГО-ЗАПАД”

##### I

Это название одной из книг Багрицкого.

“Юго-Запад” – это географически Одесса.

В статье я буду говорить об юго-западной литературной школе, традиция которой еще не выяснена.

В романе Славина “Наследник” генеалогия героя этой школы разрешена искусственно.

Понятна приблизительность решения вопроса, который здесь мы будем иметь.

Конечно, не география определяет литературные школы. Но социальные отношения в определенном географическом пункте в определенное время своеобразны, и тут нужно помнить и о географии.

Трудность вопроса еще в том, что юго-западная школа – это школа русской литературы, осуществленная на украинской территории.

Здесь многое объясняется тем, что Одесса – порт.

Мы должны вспомнить культуры Александрии, греческую на территории Египта.

Причем, конечно, александрийская греческая культура – она и не греческая, и не египетская.

Особо сложный вопрос – это вообще отношение украинской и русской культуры. Гоголь не одинок. Одновременно мы имеем работы Гребенки, раньше мы имеем работы Нарежного, Капниста, позднее мы имеем работы Нестора Кукольника и в музыке – Глинку, создавшего русскую национальную музыку на украинские мотивы.

Юрий Николаевич Тынянов собирался написать об этом большую работу.

Профессор Менделеев, создатель Периодической системы элементов, последние годы своей жизни по-своему занимался наукой планирования.

Он определял хозяйственные центры стран.

По его мнению, центр России передвигался к югу и должен был быть где-то у Харькова. Но в Харькове элемент менделеевской системы не был предусмотрен: в Харькове были украинцы.

Передвижение хозяйственной жизни к югу, однако, существовало<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Обращаем внимание на то, что терминология эта не случайная и достаточно политически острая, особенно в ситуации после Гражданской войны на Украине и в наше время. Так, в сегодняшней независимой Украине: «На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция о переименовании двух региональных филиалов “Укрзалізничці” – Юго-Западной и Южной железной дороги – в Киевскую и Харьковскую железную дорогу соответственно», – сообщает сайт Центра транспортных стратегий (ЦТС). «От СССР (Российской Империи) остались названия железных дорог, которые не соответствуют географии Украины. Какой юг в Харькове? Какой юго-запад в Киеве? Итак, предлагается рассмотреть вопрос о переименовании “Юго-Западной железной дороги” в “Киевскую железную»

Город, когда-то бывший городом анекдотов, *город русских левантинцев*, юго-запад России, который для начала XX века был тем, чем были для XVII–XVIII веков Астрахань и Архангельск, город Одесса стал центром новой литературной школы.

## II

Очень сложно следить, как литературные формы переживают явления, их создавшие, как и почему они осваиваются новыми культурами.

Стих футуристов не был сюжетным стихом.

Замена сюжета – строфа, дающая разрешение иного порядка, – тоже не определяла его.

Сюжету русские поэты учились на Западе, учились у заморцев. Тогдашние петербуржцы, младшие акмеисты – Владимир Познер, Ирина Одоевцева и по-иному Николай Тихонов пришли к сюжетному стиху через подражание английской балладе.

Поражения и победы, победы стратегические и тактические, спутаны в искусстве.

Победитель Маяковский приехал раз в Ленинград. Он читал в Белом зале Дома искусств, потом пошли пить чай в совершенно дурацкую библиотеку со шкафами из красного дерева и цветного стекла. Внесли большой поднос, на котором стояли стаканы чая для уплотнения без блюдец. На другом подносе несли какие-то пирожные. Все это поражало количеством.

Чай нес служитель Ефим; кажется, нет его теперь в живых.

Маяковский был разговорчив после успеха.

— Что, Ефим, – сказал он, – у вас так не умеют?

— Я, Владимир Владимирович, – ответил Ефим, – предпочитаю акмеистов.

Здесь сражение не было выиграно.

Акмеизм не был сюжетным насквозь. Мандельштам соединял стихи из отдельных строчек, строчки рождались и кружились, как слепые ласточки. Строчки были объединены более тоном, чем строем. Но Ахматова знала сюжетный стих.

По-иному Маяковский стремился к сюжетному стиху.

*С однообразием солнца, встающего каждый день, он*

*дорогу*” и “Южной железной дороги” в «Харьковскую железную дорогу», – говорится в тексте петиции». В то время как: «Названия “Юго-Западная ж/д” и “Южная ж/д” используются со времен Российской империи. В 1878 году было создано общество “Юго-Западные железные дороги”, а в 1907 году – общество “Южные железные дороги”. В 1930-х годах названия претерпели несущественные изменения и стали использоваться в единственном числе: Юго-Западная и Южная железная дорога соответственно» (электронный ресурс: [http://cfts.org.ua/news/2016/06/09/prezidentu\\_predlozhili\\_pereimenovat\\_yugo\\_zapadnuyu\\_i\\_yuzhnyuyu\\_zheleznyuyu\\_dorogu\\_34389](http://cfts.org.ua/news/2016/06/09/prezidentu_predlozhili_pereimenovat_yugo_zapadnuyu_i_yuzhnyuyu_zheleznyuyu_dorogu_34389)). Именно эти термины – “южная”, “южно-русская” и “юго-западная” литературные поэтические школы – и будут рассматриваться в нашей статье между Одессой, Киевом и Москвой.

писал поэмы, драмы о неудовлетворенности поэта вчера, сегодня и в будущем. Маяковский знал о наступлении баллады, о наступлении сюжетного стиха. Он боролся с ним в поэме “Про это”, в которой прямо говорил о том, как оживает “лад баллад”.

Лад баллад сейчас не победил. Раскачка этого лада, традиционность тематики, ведущая за собой традиционность словаря и образа, все еще не позволяют сюжетному стиху быть победителем.

В разметках Маяковского, которые он сделал на книгах молодых поэтов, видна эта консервативная роль балладного лада.

Победа содержания в стихах одновременно сузила содержание.

## III

Попытка акмеистов создать осязаемый мир, преодолеть “стихи, сделанные из стихов”, под влиянием футуристов перешла в борьбу за новую тематику.

Здесь вел людей намагниченный футуристами Владимир Нарбут и Зенкевич, намагниченный Нарбутом.

Южно-русская школа существовала пока отдельно.

*Одесские левантинцы – люди культуры Средиземного моря – были, конечно, западниками. Двигаясь к новой тематике, они пытались освоить ее через Запад.*

Так в петровской России иностранные слова появлялись для понятий и вещей, которые прежде не входили в сознание, хотя и были. Воздух называли – аэр, хотя и не ввозили его из-за границы.

Эдуард Багрицкий, птицевод и романтик, имел комнату, заставленную клетками, но в первых стихах он говорит о птицах Саксонии, Тюрингии.

Веселый Эдуард Багрицкий, мечтающий об еде и поэзии, для того чтобы видеть себя, смотрел на Уленшпигеля, на героя древней книги, которая в первых переводах в России называлась сперва “Совы Зерцало”, а потом “Совесть Драла”, а только впоследствии вернулась к нам в бельгийской прическе.

Зеркало Уленшпигеля отражало и делало видными контрабандистов Одессы, которые приходили к нам потом то Бенеи Криком Бабеля, то даже Васьюкой-Свистом Веры Инбер, то Остапом Бендером Ильфа и Петрова, то героями стихов Сельвинского.

У Вальтера Скотта, у Бернса, у Киплинга учился Багрицкий сюжетному стиху и, овладевши чужим зеркалом, наконец сумел заговорить собственным голосом в “Думе про Опанаса”.

Литературная традиция, классическая для Багрицкого форма, наконец начала дышать воздухом, а не аэром.

## IV

Юрий Олеша в детской книге “Три толстяка” ближе к крутым улицам приморской Одессы, чем в европейской книге “Зависть”. “Три толстяка” – это почти альманах. Герои сборны. Их поступки цитатны, но они совершают их весело.

— На Запад взоры, на Запад, — говорил Лев Лунц, позабытый нами серапион.

Герои “Трех толстяков” совершают поступки, они интересны.

Валентин Катаев хотел быть учеником Бунина, но в прозаических вещах он скорее ученик Александра Грина, тоже ныне мертвого, а завтра писателя, которого будут читать, у которого будут учиться. Имя Грина уже назвал Олеша.

Катаев в ранних рассказах работал на условном материале, создавая роман приключения, *левантинский роман о плутах, которые похожи друг на друга во всем мире, во всяком случае в мире Средиземного моря.*

## V

*За удачей писателя лежат его неудачи. Много попыток делается перед победой.*

Но мертвые убираются с глаз живых в историю литературы. Удача “Месс-Менд” как будто не имела продолжения. Однако вспомним о приключенческих романах Козырева, Алексея Толстого, о моем романе со Всеволодом Ивановым, об удаче Мариэтты Шагинян.

Валентин Катаев, с моей точки зрения, хорош не там, где он старается, написал превосходнейший приключенческий роман “Растратчики” на нашем материале. С новой линии – бесполезности приключений – он дал сюжет Ильфу и Петрову для книги “Двенадцать стульев”. Сюжет он взял недалеко. У Конан Дойля есть рассказ “Шесть Наполеонов”.

Итальянец, формовщик бюстов, спрятал черную жемчужину в гипсовую массу головы одного бюста. Бюсты проданы. Итальянец ищет бюсты и разбивает их.

Позднее режиссер Оцеп сделал из этого сценарий “Кукла с миллионами”. Еще позднее сюжет снова ожил. Он ожил в лучшем качестве, чем был рожден.

Переселение вещей во время революции дало этой теме глубину и правдоподобие.

В схеме, предложенной Катаевым, Остапа Бендера не было. Героем был задуман Воробьянинов и, вероятно, дьякон, который теперь почти исчез из романа.

Бендер вырос на событиях, из спутника героя, из традиционного слуги, разрешающего традиционные затруднения основного героя, Бендер сделался стихией романа, мотивировкой приключений.

Несмотря на смерть, он, как настоящий удавшийся герой, ожил. Он был убит, но не исчерпан.

Герои же романов приключений могут быть только исчерпаны, а не убиты.

Он ожил в “Золотом теленке”.

Ильф и Петров – чрезвычайно талантливые люди.

Когда я их вижу, я вспоминаю Марка Твена. Мне кажется, что чуть печальный Ильф с губами, как бы тронутыми черным, что он – Том Сойер.

Фантаст, человек литературный, знающий про лампу Аладдина и подвиги Дон Кихота, он человек западный, культурный, опечаленный культурой.

Петров – Гек Финн – видит в вещи не больше самой вещи; мне кажется, что Петров смеется, когда пишет.

Вместе они работали в “Тудке”.

*Они – законнейшие дети южно-русской школы, больше всех от нее взявшие, больше всех ее превратившие.*

## VI

*Писать трудно. Между мировоззрением и методом нет знака равенства.*

*Раннему романтическому Горькому нужен был освобожденный от быта человек.*

*Это потом он сумел писать о Толстом как о Толстом<sup>3</sup>.*

*Раннему Горькому приходилось колебаться в своем выборе между цыганами и босяками. Это были две возможности.*

*И более романтические, более условные цыгане, цыгане пушкинские, отступили.*

<sup>3</sup> Важно помнить, что Шкловский практически переписал горьковско-толстовскую часть “Юго-Запада” в грустном 1937 г., и не только в разгар террора, но сразу после дискуссии о формализме 1936 г. и, соответственно, смерти Горького; теперь эти слова звучали уже в окружении обсуждения творчества покойных Блока, Маяковского, живых Зощенко, Всеволода Иванова и Бабеля, но Бабеля молчащего: «Горький знал, как трудно писать. Старый мир должен быть пересмотрен, закрывать на него глаза, считать его несуществующим – это трусливая ложь. Нужно научить людей чувству превосходства над старым. <...> Всеволоду Иванову писать очень трудно, но очень интересно, потому что у него очень реальное ощущение мира, у него есть черты горьковской жадности к конкретности жизни, он совершает сложный отбор элементов для будущего своего творчества. У Бабеля иначе. Бабель начал писать рано, печатался еще до революции и замолкал на десятилетия. Он нам дал одесские рассказы и книгу о конармии. Сейчас Бабель снова пишет. У него большие литературные промежутки. <Это откровенное упоминание статьи Ю. Тынянова “Промежуток”, тем более, что поэзию “Юго-Запада” Шкловский заменил на прозу статьи 1937 г. – Л.К.>. Много раз мы слышали его, он рассказывал о разных вещах <курсив в цитате здесь и ниже наш; ср. в “Юго-Западе” о П. Сторицыне. – Л.К.>. Если бы он записал половину того, что он рассказывает, это были бы очень большие вещи. Нельзя сказать про Бабеля, что он пишет. Он переправляет свою старую тему, его тема частная, у него еще нет общей темы. Одна из прежних вещей Бабеля, пьеса “Закат”, плохо сыгранная в театре, очень большая вещь. Но Бабель не может оторваться от прежних удач, он как-то не самоотвержен в искусстве, он заперт в теме. Он может зря пропустить много лет. Настоящих лет» [2, с. 921–923]. Составитель новейшего собрания сочинений В.Б. Шкловского И. Калинин счел возможным оставить этот текст без комментария, ограничившись указанием: “О прошлом и настоящим. Знамя, 1937. № 11. С. 278–288” [2, с. 1018].

*Бабель так работал с казаками и одесскими бандитами. Бабель превращал в литературу устную традицию города, рассказы рассказчиков Петра Сторицына<sup>4</sup> и Шмидта, научившись от Запада не смягчать, а обострять вещи в литературе.*

Лев Никулин был сперва пародистом. До пародии его не было, потому что он писал, подчиняясь представлениям о красоте, которые тогда существовали, чуть ли не по традиции Мисс. Он пришел через традицию Мисс, через стилизованные вещи.

Биография Льва Никулина мужская, с поступками, разорвалась с его литературным обликом. Он прошел через увлечение авантюрным романом, написал “Дипломатическую тайну”. Через очерковую прозу он пришел к мемуарам и получил голос, уже поседев.

Сильнейший поэт Сельвинский, так хорошо начавший, поторопился. Мировые темы “Пао-Пао” снизили искусство поэта. Старая тема – разоблачение человечества через противопоставление его обученной обезьяне, тема из сказок Гауфа – не подняла Сельвинского.

*Юго-западное уменье, уменье левантинца и европейца создавать сюжетное стихотворение*, оставило Сельвинского, создателя поэм и драм.

Я не буду пытаться в статье объяснять писателей. Я хотел только связать их, показать общность роста и трудность освоения нового старым, переключение старого.

*Мне хотелось бы только, чтобы писатели полюбили свой путь, оценили его своеобразность, трудность, чтобы он был для них не только поводом для раскаяния, но и поводом для гордости.*

*Южно-русская школа будет иметь очень большое влияние на следующий сюжетный период советской литературы.*

Это – литература, а не только материал для мемуаров.

[1, с. 470–475]

Так заканчивается знаменитая статья Виктора Шкловского 1933 г. о писателях, которых он объединил в одну школу, когда никого из них уже не было в Одессе.

Однако нас интересует сейчас не столько генезис придуманной Шкловским южно-русской школы, сколько генезис некоторых его мыслей о ней. Начнем с Бабеля и Горького:

“Писать трудно. Между мировоззрением и методом нет знака равенства.

Раннему романтическому Горькому нужен был освобожденный от быта человек.

Это потом он сумел писать о Толстом как о Толстом.

<sup>4</sup> О нем специально пойдет речь в конце второй части нашей статьи.

Раннему Горькому приходилось колебаться в своем выборе между цыганами и босяками. Это были две возможности.

И более романтические, более условные цыгане, цыгане пушкинские, отступили.

Бабель так работал с казаками и одесскими бандитами.

Бабель превращал в литературу устную традицию города, рассказы рассказчиков Петра Сторицына и Шмидта, научившись от Запада не смягчать, а обострять вещи в литературе” [1, с. 474–475].

Казалось бы, никакой связи между Горьким, писателем волжским или московским, и южно-русской одесской литературной школой нет и быть не может. Хотя самые первые его рассказы были как раз об Одесском порте.

Однако очень давно, в 1908 году, в петербургской газете “Русь” (№ 27, 27 января [10 февраля]) в очень похожем контексте его объединил с неназванным предшественником этой школы, Семеном Юшкевичем, другой одессит и тоже предшественник южно-русской школы Владимир Жаботинский. Было это так (мы приведем достаточно представительный отрывок из интересующего нас текста):

«Среди беллетристов евреев, пишущих и писавших на русском языке о евреях, г. Юшкевич является новатором. До него беллетристика о евреях носила какой-то этнографический характер. На первый план выдвигались бытовые особенности еврейской среды, цитировались или приводились по-русски типичные жаргонные словечки, подчеркивались своеобразные традиции и обычаи. Иногда это отдавало неприятным и унижительным привкусом апологии: автор хотел “между строк” “рассеять предубеждения”, показать, что, мол, эти бедные еврейчики “тоже люди”, и так далее. Но даже остальные произведения, свободные от этого слащавого запаха, были выдержаны в тоне повествований Отелло о безголовых людях и других заморских чудесах. Минутами это напоминало доклад в географическом обществе: посмотрите, люди добрые, какие курьезные люди там живут и какие у них любопытные наряды.

Г. Юшкевич с первых шагов своих показал, что ему чужда эта манера. Он совершенно не интересуется бытовыми черточками и в особенности мало заботится о том, чтобы ознакомить с этими черточками почтеннейшую публику. Он берет еврейскую среду как фон; только предметом его писательского наблюдения служит не этот фон, а отражающиеся на нем общечеловеческие процессы. Он не выбирает характерных словечек, а просто передает по-русски жаргонную речь – несколько, но, по-моему, не через чур, утрируя. Он трактует еврейскую среду не как этнографический раритет, а как status, и требует у чита-

теля внимания не к курьезам быта, а к содержанию жизни. И если часто делались попытки объявить г. Юшкевича подражателем г. Горького или как-нибудь иначе найти общие точки между двумя этими писателями, то я сказал бы, что их основное сходство именно в их отношении к быту. В русской литературе о меньшем брате тоже держалась крепкая бытописательская манера, которой отдали дань лучшие представители беллетристического народничества; но на г. Горьком совершенно не отразилось их влияние. Он взял босяцкий мир просто как удобную сцену, чтобы на ней поставить одну картину из “Человеческой комедии”. Г. Юшкевич – первый в своей отрасли – сделал то же с еврейской средою. Это – несомненная заслуга. Перейти от изображения внешности к изучению нутра, сделать из объекта читательского любопытства (или – что тоже – любознательности) объект серьезного интереса – это бесспорно значит понять свою отрасль одною важной ступенью выше.

Но параллель с Горьким ведет еще дальше, и надо ее довести до конца. Горький не был бытописателем босяков: он вообще рассказывал о босяках неправду, и теперь ни один толковый человек на этот счет не заблуждается. Миссией Горького было нарисовать перед обществом увлекательную картину того, что обществу главным образом не доставало для данного исторического момента: картину волевого активного начала в жизни, картину импульса в противовес рефлексии. Нарисовать эту картину мог только рассказчик небылиц. Только сказочник, ибо нигде в царстве действительности таких людей импульса не было, и в босяцком мире меньше всего. И Горький выбрал босяцкую среду просто в качестве традиционного сказочного царства “за тридевять земель”, о котором можно рассказывать небылицы, потому что публика его не знает. Горький так и сделал, и так было нужно, и как бы мы ни вольничали теперь, критикуя в пух и прах его новые писания, социальная роль его “небылиц” принадлежит истории и будет ею оценена в высокую меру».

Нетрудно увидеть, что здесь с очевидностью продемонстрирована дистанция между сюжетом и фабулой. Однако об этом чуть позже, хотя в разговоре о Шкловском-теоретике этого не обойти. Сейчас нас интересует другое.

С одной стороны, Шкловский уже в 1928 г. в “Гамбургском счете” сказал, что Бабель, которого он сравнил в “Юго-Западе” с Горьким, именно в вопросе “безбытности” – “легковес”, да и Горький – “не в форме”. Поэтому и пришлось перепечатывать свой относительно старый “Критический романс” о Бабеле в “Гамбургском счете” [3, с. 76].

Его мы и процитируем сейчас, сказав до этого, что В. Жаботинский проанализировал в своей статье два сочинения неназванного Шкловским в качестве предшественника “Юго-Запада” Семена Юшкевича, писа-

теля у которого в повести “Евреи” действует “старый Шлойме”, именем которого без особых прямых связей назван ранний рассказ раннего Бабеля, а также “Король”, именем которого назван еще один рассказ Бабеля, на сей раз даже процитированный Шкловским в его “Критическом романсе” “Бабель” [3, с. 83].

Однако Шкловский помнит, похоже, не только простое сопоставление Юшкевича с Горьким из этой статьи, но и оценку Жаботинским новых по состоянию на 1908 г. вещей Горького. Поэтому и удар по пролетарскому классическому очень болезнен. Тем более после “Гамбургского счета” или статьи о романе “Дело Артамоновых” [1, с. 321–330] и “О Пешкове-Горьком” [1, с. 315–320] из “Третьей фабрики” или “Удач и поражений Максима Горького” еще 1926 г.

Но наша задача сейчас не столько в анализе взаимоотношений Шкловского и Горького или даже Шкловского и Бабеля, сколько поиск генезиса самого Шкловского.

Поэтому от внутри-литературных споров о материале, стиле, задании и т.д. перейдем к сюжету, который пронизывает всю статью Шкловского о “Юго-Западе” – это образ левантийца.

Похоже, что генезис у него тот же, что и резкое сопоставление Горького и Бабеля.

Итак, вот каким представал этот самый “левантинец” в 1913 г. на страницах газеты “Керчь-Феодосийский курьер” в “Лекции В. Жаботинского” (ч. II):

«Процесс ассимиляции внешних форм особенно наблюдается среди мелких национальностей, составляющих всюду меньшинство и как чужеродный организм, вкрапленных в другие более крупные национальности.

Яркими и типичными примерами могут служить армяне в турецкой Армении и в русской Армении, цыгане, но, главным образом, евреи.

Если, как я сказал, современному человеку тесно в пределах своего национального языка, то тем более потребность в изучении чужих языков чувствует еврей, причём вызывается она не идеалистическими стремлениями к изучению и усвоению чужой культуры, а чисто практическими мотивами из области борьбы за существование.

Передача идей теперь настолько упрощена и облегчена, что для ознакомления с культурой другого народа нет необходимости в изучении языка его.

Если сегодня выйдет новая книга Д’Анунцио, то завтра требуют французского перевода ее. Известно ведь, что среди российской интеллигенции есть много высокообразованных людей, которые другого языка, кроме русского, не знали и не знают.

Пробудившиеся народы – меньшинства и стремятся культуру насадить на родную почву, т.е. на своих национальных языках. Чехи, словинцы, кроаты, хорваты <так! –

*Л.К.*>, – все они борются за свою национальную школу, за свой университет, стараются избавиться от гегемонии немецкого языка и немецкой культуры.

Какой бы ни был язык, мужицкий, корявый, но он родной, и всякий поляк, белорус, литовец и т.п. мечтает именно на этом языке дожидаться расцвета своей культуры.

*На Востоке имеется любопытное существо – левантиец.* Сам до полной запутанности смешанного происхождения, он, однако свободно изъясняется на 5–8 языках и, большей частью, даже без акцента. Между тем, нет существа более мало-культурного и невежественного, чем левантиец. Школ у них вообще нет, просвещения вообще никакого, условия быта со всех точек зрения ужасные. *И вот на самой низкой ступени социальной лестницы жалкий, невежественный левантиец, говорящий почти на всех европейских языках, а наверху этой лестницы самый культурный из всех людей, гордый англичанин, другого языка, кроме английского не знающий и никакого другого языка знать не желающий.*

Отсюда вывод, что рост и развитие культуры не требуют “многоязычия”, если есть возможность насаждать и развивать ее на своем национальном языке».

Это было сказано 11 сентября 1913 г., за несколько дней до начала процесса по делу Бейлиса. Сказано сионистом, которому именно английская позиция в вопросе о Палестине более всего не давала спокойно спать.

Однако нам сейчас важно, что необразованный левантиец говорит не на восточных, а на западных европейских языках. Его стремление на Запад очевидно. Только к 1930-м гг. этот “левантиец” уже усвоил и языки, и культуру, и литературу шумной многонациональной Одессы, которая и сама уже стала литературой московской.

А за три года до приведенного интервью Жаботинского, в 1910 г., Александр В.<sup>5</sup> в № 60 того же “Керчь-Феодосийского Курьера”, в статье “Милая Одесса”, да еще в сравнении с Керчью, писал:

<sup>5</sup> Мы не касаемся здесь атрибуции и/или идентификации псевдонимов В. Жаботинского. Скажем лишь, что использование основы “Александр-” было следствием необходимости покупки недвижимости для выдвижения во Вторую думу. Дом был приобретен в местечке Александрия. До “Керчь-Феодосийского курьера” Жаботинский использовал псевдоним Вл. Александров – во время своего пребывания в Константинополе в 1909–1910 гг. в газете “Стамбульские новости”. Неудивительно поэтому, что следы Жаботинского обнаруживаются в романе об одном известном “сыне турецко-подданного” – Остапе Ибрагимовиче Бендер-Бее, который уже упоминался на этих страницах (ср.: [4, с. 178–186]).

“Я очень люблю Одессу.

Я люблю ее шумную колоритность южного большого города, за запах акаций, которыми она меня встречает, когда я весной возвращаюсь с севера, за томные бархатные ночи, за милых барышень, которые позволяют ухаживать за собой.

*К Керчи я не питаю никаких чувств* <курсив наш – *Л.К.*>: как пай мальчик, который знает, что папу-маму нужно любить, я по возможности отношусь к моему родному городу почтительно.

Но Одессу я люблю искренне и горячо даже за всю бестолочь, шумливость, азартность и разгильдяйство, сделавшие известной Южную Пальмиру.

Если два одессита, встретившись в кафе, поспорят о сравнительной вместимости пивных бутылок Санценбахера и Енни, они постепенно перейдут из кафе в участок, в камеру мирового судьи, в арестный дом для отбывания наказания за буйство в общественном месте.

Где бы ни был одессит, он кричит, волнуется, изредка дерется.

Впрочем, больше делает вид, что дерется: одессит по большей части еврей, а этому племени не свойственен особый воинственный азарт”.

Но “Александр В.” не был бы Жаботинским, если бы не продолжил так: “Зато, если шумит союзник <т.е. член антисемитского Союза Русского Народа. – *Л.К.*>, быть жестокой драке в древне-русском стиле с повержением противника на землю и без пощады, вопреки правилам Гаагской конвенции к побежденным”.

Понятно, что актуальный газетный фельетон сохраняет все признаки своего времени. Однако тексты Жаботинского, писавшего под псевдонимом “Александр В.” в керченской газете, настойчиво продолжали работу по созданию образа человека Юга.

Чуть позже, в №114 за тот же 1910 год, он писал в статье “На Юге”, которую стоит привести полностью, так:

«С тех пор, как я себя помню, я помню себя пламенным патриотом. Молодость, особенно та крайняя зеленая молодость, которая, случается, плачет от стыда за свои годы, крайне склонна ко всякого рода патриотизму. Предмет безразличен: просто живые искорки молодого чувства легко воспламеняются и горячо сияют своим друзьям. Юноши легко становятся патриотами своего города, своей газеты, своей партии.

Этот пламенный и, в конце концов, беспредметный патриотизм у молодых еще не созревших людей заполняет собою всю эмоциональную область и заменяет собой другие чувства, которые с течением времени властно вторгнутся в душу.

С тех пор прошло довольно много времени: у меня

пропал этот пыл патриотизма, кипучего и легко уязвляемого, но у меня осталась общая привязанность и родное чувство к Югу.

Я провожу месяца на севере и, возвращаясь весной к себе на юг, я испытываю чувство благодарности за яркое солнце, за глубокие бархатные ночи, за рокошущее море; зимою я рад югу потому, что здесь видишь солнце, о котором забываешь на севере; потому что свежий, а иногда холодный воздух здесь все-таки ласкает, напоминая, что через месяц, другой зацветут цветы.

Больше всего я питаю склонность к южанам.

История как-то перемешала здесь целую кучу народностей: здесь когда-то встретились скифы с греками, затем приезжали генуэзцы, потом смешались татары с русскими и опять с греками, затем это месиво народностей сдобрилось армянами, молдаванами, итальянцами, евреями, а жаркое солнце испекло из них особый тип южанина.

Южанин бравурен и поверхностен; он лжет не в меру, жестикулирует, склонен к пафосу, по большей части “себе на уме” и крайне впечатлителен.

Ему присуща особого рода впечатлительность, которая дает возможность одинаково добросовестно и искренно лгать в совершенно различных направлениях; одинаково добросовестно и искренно жертвовать собою в совершенно различных направлениях.

Это форменная машина жизни всегда, во всякого рода культурах и во всякого рода временах, побеждает северян.

Это – почти закон истории.

В Италии неаполитанцы завоевывают Рим, во Франции экспансивный южанин захватывает Париж, в России южане заселяют Петербург и Москву, удивляя своей жаждою жизни, впечатлительностью, отсутствием общих идей, своим умением жить ради момента.

Я наблюдаю эту многоцветную публику “завоевателей жизни” в разной обстановке: в больших городах, где делается счастье, где составляются карьеры для честолюбивых, где лежат куски хлеба для голодных, южане в первых рядах: всякое занятие для успеха, в котором недостаточно упорного труда, но требуется еще ловкость, предприимчивость и тревожная подвижность, переполнено ими; они в первых рядах там, где шумно и вызывающе продается то, что накапливалось раньше, – естественное продолжение деловой и коммерческой сутолоки, естественная реакция против деловитости и расчетливости, которым утомлена переданная им от отцов кровь.

Северяне кутят угрюмо: у них это – пассиональная склонность, мания. Почти душевная болезнь; северянин заглушает какого-нибудь грызущего червяка или подпадает под чью-нибудь власть. Южане кутят по привычке, по создавшейся потребности “приличного человека жить прилично”; кутят также весело, крикливо и бодро, как работают.

Завоеватели жизни у себя дома – иная картина.

Я сижу у моря на раскаленной солнцем скамейке сонного бульвара, а в соседней кофейне кипит керченская жизнь.

Мое впечатление, что единственная отрасль промышленности, процветающая у нас, это содержание кофейни: кофейня здесь, кофейня там, – до уровня “кафэ” мы еще не поднялись, хотя кое-где появляются вывески с этой надписью, – и в каждой из них свой круг посетителей, сидящих за чашкой кофе часами и щелкающих своими костяшками. Игра в домино в той же степени процветающий в Керчи род занятий. Его культивируют и любят: здесь достигают виртуозности и совершенства.

По-моему, вся энергия керчан уходит в это благородное занятие.

По вечерам в кофейнях шум и гомон: щелкают костяшки, среди их шума слышатся разговоры, требование кофе, папирос, пары пирожных.

Общее внимание сосредоточено вокруг виртуозов: игра “на интерес или чашку кофе”, но вокруг нее вертится настроение, разговор, способ питья кофе; вы уверены в себе, тогда пьете кофе медленно и с толком; вы волнуетесь и горячитесь, и чашки следуют одна за другой.

Вам хочется разговаривать. Великолепно. Вы прослушаете длинную серию удивительных рассказов о необычайно ярких “событиях из собственной жизни”, случившихся в Ахтырях, в Синопе, в Марселе или Феодосии.

Вы хотите говорить о женщинах. Вам расскажут все, что знают, все, что было и кое-что: полезные справки, обсуждение достоинств и недостатков, сердечные признания, обращенные в толпу слушающих, сообщения о том, что было, а главное о том, что могло быть. Какой-то длинный и тщательно составленный справочник-путеводитель.

Надо рассчитывать по грандиозному счету в 25 коп.: широкий жест вельможи – “я награжу тебя по-царски” – и между двумя копейками чаевых денег непременно одна с дырочкой.

Вечер проходит шумно, весело и непринужденно, а днем идет “деловая жизнь”. В магазины сходятся говорить, в купальне говорят тоже, в канцелярию заходят увидеться и поговорить.

Вспоминается анекдот о том, как потонул в океане большой пароход; погибла команда и пассажиры, а уцелевшие два пассажира стояли на обломках мачты и обменивались впечатлениями.

Их сняли и стали расспрашивать.

— “Сначала налетела одна волна и смыла капитана и команду, потом другая и смыла пассажиров, затем сломался руль, пароход накренился, и затем пошел ко дну”.

— “Ну а вы?”

Удивленное выражение лица и попытка вспомнить:

— “Мы! Мы разговаривали”.

Спать и разговаривать днем, сидеть в кофейне вечером, наслаждаясь гомоном, криком, сутолокой, точный и выдержанный *ordre de jour*.

Эта та впечатлительность, которая бодрит и толкает к делу в одной обстановке, располагает к лени и разговорам в другой.

Мне представляются маленькие суденышки, ходящие по Черному морю и проделывающие один и тот же рейс то в три дня, то в три месяца. Один моряк, красивый старый малоазийский грек с редким суровым профилем азиатского арийца, объяснял мне о таких путешествиях:

— “Прийдем в Марсель – торговать будем, в море стоим – спать будем”.

Наши маленькие города именно то “море”, где “спать будем”. Есть ветер, мы идем, приходим в Марсель; южанин шумит торгует, делает дела. Нет ветра, – южанин спит и разговаривает.

Гибкая впечатлительная психология, она как парус нехитрого судна, зависит от дующего в море ветра.

Александр В.»

Мы не будем сейчас приводить доказательства того, что под именем “Александра В.” писал в “Керчь-Феодосийском курьере” одессит В. Жаботинский. Писал он там и под своим псевдонимом “Одессит”, и под другими игровыми именами.

Нам важно сейчас, что мы можем ответить на вопрос, почему Шкловский счел, что генеалогия левантийца у Славина не настоящая. Независимо от того, эти ли именно тексты читал Шкловский или нам не известны еще какие-то псевдонимы и тексты сверххитрого и сверхплодовитого Жаботинского, но в приведенных текстах и самого Жаботинского о левантийцах, и в текстах “Александра В.” о юге и Одессе мы получили весь набор особенностей “Юго-Запада”, который привел нам Шкловский. Включая и городские небылицы в кофейнях, и женщин, и культурную смесь языков и народов так или иначе связанных и с культурным англичанином, и с Марселем, т.е. с Западом.

Теперь сравним с “Александром В.” два текста об Одессе. Один, дореволюционный, Бабеля, другой – уже 1930-х гг. – Жаботинского.

Вот “Одесса” Бабеля:

«Одесса очень скверный город. Это всем известно. Вместо “большая разница” там говорят – “две большие разницы” и еще: “тудою и судою”. Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской Империи. Подумайте – город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи – это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно – любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры, но сбить их с по-

зиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу.

Одессит – противоположен петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраиваются в Петрограде. Они зарабатывают деньги. Потому что они брюнеты – в них влюбляются мягкотелые и блондинистые дамы. И вообще – одессит в Петрограде имеет тенденцию селиться на Каменноостровском проспекте<sup>6</sup>. Скажут, это пахнет анекдотом. Нет-с. Дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости.

Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке, думается мне, что должно прийти, и скоро, плодотворное, животворящее влияние русского юга<sup>7</sup>, русской Одессы, может быть (*qui sait?*), единственного в России города, где может родиться так нужный нам, наш национальный Мопассан. Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее, – одесских певиц (я говорю об Изе Кремер) с небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе, с задором, легкостью и очаровательным – то грустным, то трогательным – чувством жизни; хорошей, скверной и необыкновенно – *quand même* et *malgré tout* – интересной.

Я видел Уточкина, одессита *pur sang*, беззаботного и глубокого, бесстрашного и обдумчивого, изящного и длиннорукого, блестящего и заику. Его заел кокаин или морфий, заел, говорят, после того, как он упал с аэроплана где-то в болотах Новгородской губернии. Бедный Уточкин, он сошел с ума, но мне все же ясно, что скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешочком придет в Одессу.

Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия для того, например, чтобы взрастить мопассановский талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса “негоциантов”, прыщавые и тощие фантазеры, изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс.

В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума.

В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем.

<sup>6</sup> Ср. о Каменноостровском проспекте у О. Мандельштама, который жил по адресу Каменноостровский 24А, кв.15 и героя “Египетской марки” Парнока называл “человеком Каменноостровского проспекта”.

<sup>7</sup> Обращаем внимание на этот термин, он нам еще понадобится.

В Одессе, по вечерам, на смешных и мещанских дачках, под темным и бархатным небом, лежат на кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин... За кустами их напудренных, разжиревших от безделья и наивно затянутых жен пламенно тискают темпераментные медики и юристы.

В Одессе “люди воздуха” рыщут вокруг кофеен для того, чтобы заработать целковый и накормить семью, но заработать-то не на чем, да и за что дать заработать бесполезному человеку – “человеку воздуха”?

В Одессе есть порт, а в порту – пароходы, пришедшие из Ньюкастля, Кардифа, Марселя и Порт-Саида; негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания – поэтического, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания.

“Одесса, – в конце концов скажет читатель, – такой же город, как и все города, и просто вы неумеренно пристрастны”.

Так-то так, и пристрастен я, действительно, и может быть, намеренно, но, parole d'honneur, в нем что-то есть. И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь печальна, однообразна – все это верно, – но все же, quand même et malgré tout необыкновенно, необыкновенно интересна».

[5, с. 62–65]

О том, что настоящий русский Мопассан может прийти только с юга из-под южного солнца, а не с Волги, и это будет не Горький, Бабель, собственно и писал далее.

И этот его текст, явно наследующий “Александру В.”, нашел свое продолжение в “Моей столице” Жаботинского и его же “Пятеро”, но писал все это Жаботинский уже много позже “Критического романа” Шкловского и совсем незадолго до его “Юго-Запада”, однако во время писания “Жизни Клима Самгина”.

В любом случае, генезис “Юго-Запада” Шкловского столь же “юго-западный”, как и его героев-писателей. Нет смысла говорить, что все они испытали на себе влияние “Чужбины” Жаботинского. Об этом писалось достаточно. В конце концов, высокий литературный “одесский язык”, декларированный еще В. Дорошевичем, стал языком молодого поколения одесских литераторов точно после 1922 года, когда берлинское издание “Чужбины” стало литературным фактом советского времени. На этот литературный факт давно обратил внимание М.Я. Вайскопф, когда предвещал своим вступлением единственное пока переиздание этой пьесы в наше время [6, с. 5–14].

Однако столь глубокий южно-русский генезис “Юго-Запада”, похоже, имеет и еще один “южный”, на сей раз центрально-украинский и киевский источ-

ник – советскую газету “Вечерний Киев” весны 1928 г. (№121):

Ник. Ушаков.

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Если верить самому Багрицкому, то он делает не больше строфы в день. Оттого его строки просятся в эпиграфы. Поэзия Багрицкого *не кавалерийский рейд, а позиционная война*. Он медленно отвоевывает у Музы небольшие территории, но назад их уже не отдает.

“Бесы” Пушкина не должны были быть обязательно написаны в лунную ночь во время пурги. Гершензон в этом отношении ошибся.

В первые годы революции, в периоды наступающего голода, Багрицкий восстановил поэзию кухни.

Как гласит предание, когда Багрицкий читал своего Тиля Уленшпигеля красноармейцам, то они кричали: “Дашь сало!” В это время Одесса (Багрицкий, как и Бабель и Кирсанов родом из Одессы) переживала черное время. Нищие лежали у домика Пушкина и выли от голода. На Чумке поднималась трупов. Все граждане ходили в защитном. Шенгели один сохранил академический сюртук. Вслед за Бела-Куном он ездил покорять Крым и, не покорив его, вернулся в Одессу, где и ходил в вышеупомянутом сюртуке, пробковом шлеме защитного цвета трусиках. Южная поэтическая школа во главе с Шенгели свирепствовала белыми ямбами. *Мысли Багрицкого улетали от защитного цвета в добрую старую Германию и туманную Шотландию*<sup>8</sup>. Белые стихи его были шедеврами, но с подлинной жизнью соединяло их только веденье сытости.

Необходимо было, чтобы продовольственные карточки ушли в область предания, чтобы Шенгели изменил костюм и стал профессором, чтобы уже в Москве Багрицкий вспомнил о живой романтике. // Романтика опрот <д? – Л.К.> комгубов и продрозверстки жила в нем заглушаемая кладбищенскими травами прекрасной, но мертвой поэзии.

Багрицкий приобрел Шевченко у букиниста в Китайском проезде.

От заградилочки и Кобзаря родилась Дума про Опанаса, Дума о комиссаре Когане, Несторе Махно, Котовском и бандите Опанасе.

Это лучшая вещь Багрицкого и лучшая поэма за последнее время вообще.

Если не ошибаюсь, Багрицкий дебютировал в “Красной нови” стихами о “Соловье и поэте”. // Есенин обрушился на него со всей страстностью кавалериста, которого во время позиционной войны заставили спешиться. // Старая редакция “Красной нови” была устранена. Багрицкий ушел со страниц журнала. // “Дума про Опанаса” вернула его былые завоевания. // Если прежде в “Красной нови” на

<sup>8</sup> Обращаем внимание на игру слов “черное время” Одессы, “белые ямбы” Шенгели, от которых уходит Багрицкий, поэт, понятно, “красный”, в Германию и Шотландию. Ср. название прозы Г. Шенгели об этом времени “Черный погон”, которая выйдет в свет полностью только в 2018 г.

первом месте шел Есенин, то теперь стихотворный отдел начал возглавляться Багрицким.

Перевал в это время, т.е. зимой 26–27 года наступал развернутым фронтом от Вологды до Одессы. Он покоял города и деревни и брал пленных. // Среди последних оказался и Багрицкий. // Но перевальское пленение для Багрицкого продолжалось несколько недель. Он бежал из “Перевала”, увлеченный вероучением конструктивистов. // И сделал хорошо, так как в “Перевале” должен был сделаться мэтром и профессором, конструктивисты заставили же его вновь стать учеником<sup>9</sup>.

От прошлого ученичества родились “Контрабандисты” и “Весна” – стихотворение буйной жизни, несправедливо опошленное корреспондентом “Читателя и писателя”. Звон греческих фамилий и бульварное аргю (хотится, хотится) в качестве дани догматам конструктивизма соединились с воспоминаниями о Черном море и с подмосковными перронами. Вместе с тем ветер Индии (Киплинг) и дыхание пирата повеяли там, где полагалось бы дуть ветрам низменности и быть зеленым шапкам пограничников. Но эти пираты у одесских пляжей, эта Индия у Кунцовских холмов уже не бутафория, не стилизация под

<sup>9</sup> Выше мы намеренно поставили знаки //, чтобы обозначить отдельные строки, которыми записал бы свой текст Шкловский. Во время его 125-летия эту особенность интересующей нас структуры текста описала на практике, сохранив стиль мэтра, его последний литературный секретарь Л. Аркус:

«Я расшифровываю запись и прошибает меня холодный пот.

Страничка бреда. Птицы, шляпа, Стерн, черновики. Связи между ними никакой. Хоть умри. И парадоксов никаких. И “сближения далековатых понятий” – тоже, потому что далековатость есть, а сближений никаких нету...

Тупо смотрю на страничку, перечитала сто раз, понимания не прибавляется. Всплывают в памяти любимые страницы, читанные-перечитанные в любовном восторге и “сношенные наизусть, как старое платье”...

И тогда.

Расшифровку в корзину для бумаг – вон.

Новый лист в машинку, скрипит каретка <...>

Сейчас, сейчас...

Все то же самое, только каждое предложение с новой строчки.

Никаких отточий и двоеточий.

Графика текста.

Книжная верстка на машинописном листе.

Такое волшебство: вот они, сближения. Все на месте. Шкловский.

Несу. Подаю лист. Читает.

И трубным басом: “Симочка, сегодня я опять в хорошей форме!”» (электронный ресурс: <http://seance.ru/blog/shklovsky-125/>).

Это Шкловский в 89 лет. Именно эту “графику” демонстративно и пародийно нарушил Н. Ушаков.

Киплинга, Вальтер Скотта, но условие поэтической перспективы, условие поэтической углубленности. От Дюрера на обложке до названия книги “Юго-Запад” (Багрицкий именно так назвал свою первую книгу) такое же расстояние как от палисандра дачной гитары до Закона Джунглей, но в этом основная прелесть стихотворений Багрицкого, их основной дух.

Багрицкий живет в нескольких верстах от Москвы в дачной местности – Кунцево. Живет среди клеток с птицами, среди аквариумов с рыбами. У него есть ружье и охотничий щенок.

Но злые языки утверждают, что щенки Багрицкого умирают от чумы, не успев достигнуть зрелости, и что охотится Багрицкий скверно.

Может быть поэтому так сочны его охотничьи вещи, так как поэзия есть не удовлетворение желания, а само желание».

Это очень содержательная и злая статья киевского конструктивиста против Лэфовца. И недаром она так похожа на стиль Шкловского и его будущего “Юго-Запада”. Проще всего сказать, что это жесткий ответ московскому формалисту на его статью «Светила, вращающиеся вокруг спутников, или попутчики и их тени, или “влиятельные особы”», опубликованную в 1924 г.

Именно там Шкловский писал, что “Для поэтов второго призыва <...> очень важно знать, кто был поводырем Безыменского, Светлова, Кирсанова, Багрицкого и других” [2, с. 532].

И в этой же статье находим: «Бесспорно, что формальными достижениями Маяковского и Асеева молодежь воспользовалась достаточно широко. Под руководством автора “Черного принца” <Асеева. – Л.К.> курс ритмики проходили Саянов, Кирсанов, Ушаков. Ораторскую интонацию Маяковского использовали Безыменский, Кирсанов, отчасти Жаров. Развитием отдельных пунктов центральных тезисов программы отделились от лэфовцев конструктивисты. Последние годы сделали общественным достоянием результаты пятнадцатилетней работы Бориса Пастернака. Н. Ушаков, Дементьев проявили уже большие успехи по переключению лаконического синтеза, пополнению календаря городских образов и сравнений, так характерных для творчества автора “Сестры моей жизни”. Ничтожно по сравнению с влиянием левых мастеров наследство есенинской лирики; она, может быть сказалась в творчестве многих перевальских поэтов, но перспектива их роста под большим знаком вопроса».

Это было напечатано и в журнале “Журналист” в 1924 г. (№13), и “Гамбургском счете” (1928). Отсюда актуальность ответа Н. Ушакова. Однако слишком

много черт стиля Шкловского не должно закрыть от нас содержание мысли автора “Гамбургского счета”, которое существенно изменилось с 1924 по 1928 г.

Прежде всего, существовал уже не “Леф”, а “Новый леф”; живой в 1924 г. С. Есенин уже не только умер и удостоился стихов Маяковского, но и стал знаменем хулиганства в литературе, с которым сражался сам Н.И. Бухарин, да и А. Крученых. Юные в 1924 г. конструктивисты теперь активно атаковали “Леф”. Знаменитый доклад Г. Шенгели в ГАХН 25.10.1926 г. “Опыт социологического и морфологического анализа стихов Маяковского” стал в 1927 г. брошюрой “Маяковский во весь рост” и удостоился стихов Маяковского “Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели”.

Поэтому все рассуждения Н. Ушакова в статье в “Вечернем Киеве” были предельно актуальны. А тут еще и заявление о том, что именно Шенгели был главой “Южной поэтической школы”, куда попали и Лефовец и Юго-Лефовец С. Кирсанов, и прозаик, печатавшийся в “Красной нови” и “Лефе” конник И. Бабель.

Отсюда и игра Н. Ушакова в мертвого Есенина как спешившегося конника, который с бранью набрасывается на Багрицкого, у которого, оказывается, “не кавалерийский рейд, а позиционная война”. А ведь 1928 год – еще и год скандала Бабеля с Буденным, начавшегося в 1924 г. и неожиданно активизированного Горьким в сентябре 1928 г.

Здесь мы уже вышли за хронологические рамки написания статьи Н. Ушакова, но не вышли за рамки времени написания странного и неожиданного “Юго-Запада” Шкловского в 1932 г. Теперь уже нет никакого, даже “Нового Лефа”, покончил с собой Маяковский, разгромлены конструктивисты, помещенные пропагандой где-то между Троцким-Смердяковым и вредителями “Рамзинцами”.

А вот Бабель пока на коне. Порвавший с Маяковским Кирсанов – не актуален. И в точном соответствии с теорией тыняновского “Промежутка” (1924) вновь после наплыва поэзии в русскую литературу побеждает проза. И не просто проза, а проза “левантийцев” – одесситов.

И тут очень уместным оказывается снова “Юго-Запад” Багрицкого, транспонированный из “южной поэтической школы”, которую когда-то недолго возглавлял бывший академик бывшего ГАХНа профессор Шенгели.

Так видится нам теперь из “идуших светлых лет” происхождение речевого и литературного жеста

Шкловского. А сама статья Н. Ушакова, как можно теперь узнать из новейших книг Шенгели и о Шенгели, была предельно фактически точна, использовала редкую одесскую печать первых послереволюционных лет, когда “проф. Шенгели” “возглавил” “Южно-русскую” на сей раз “школу поэтов”, как они себя называли в 1919 г.

Но “южно-русский” спор о том, что правильнее – “Черный принц” Асеева с его заведомо английской морской романтикой у автора “Гамбургского счета” или “Мысли Багрицкого”, которые “улетали от защитного цвета в добрую старую Германию и туманную Шотландию” от “черных времен” Одессы или его же “Индия у Кунцовских холмов уже не бутафория, не стилизация под Кипплинга, Вальтер Скотта” у критика “Вечернего Киева”, – неизбежно вел от “Эдуарда Багрицкого” Н. Ушакова 1928 г. к “Юго-Западу” Шкловского 1932 г., и именно к нему.

## 2. Проблема “Фабулы” от “Сюжета как явления стиля” до “Энергии заблуждения” на фоне “Одесских новостей” и “Русских ведомостей”

Причины, по которым Шкловский не мог назвать своего знакомого по Берлину Жаботинского в открытой советской печати, сложны и многообразны. И на данный момент они выходят за рамки нашей работы. Однако кое-какие их следы мы все-таки сейчас увидим.

Они вполне ясно выражены в столь привычном названии “Гамбургский счет”, т.е. счет просто “Западный”. Но выдуманные “борцы” Шкловского (см. об этом в первой нашей статье, названной в сноске 1) сражаются, обращаем внимание, за закрытыми окнами и дверями, т.е. между собой и не для зрителя. Именно это, как ни странно, относилось ко времени подготовки к печати и выпуску “Гамбургского счета”. Ведь только после выхода книги в свет, как, по крайней мере, мы узнали из № 242 “Вечернего Киева” за 1928 г., из раздела “Театральные новости” на с. 4, что “В отмену постановления, вынесенного в 1927 г., Главрепертком разрешил матчи французской борьбы в цирковых помещениях, если кроме борьбы в программе нет других цирковых номеров” <выделено в газете – Л.К.>.

Таким образом, название книги Шкловского недвусмысленно говорило о том, что он ведет литературную борьбу по высшему счету, но за задернутыми шторами, закрытыми дверями, выявляя истинных борцов-чемпионов не по команде “дяди Вани” и не за деньги.

Именно такой, закрытый для советского читателя пример, мы и продемонстрируем сейчас.

Несколько лет тому назад М.Я. Вайскопф обратил внимание на то, что рассуждения Шкловского о проблеме фабулы в литературе, опубликованные в 1921–1922 гг., напрямую восходят к статье В. Жаботинского “Фабула” (“Русские ведомости”, 15.01.1917) (см.: [7]).

Там же М.Я. Вайскопф замечает, что все основные положения этого подхода намечены уже в давней итальянской статье Жаботинского “Горький и Чехов. К проблеме русского импрессионизма”, опубликованной в итальянском журнале “Nuova Antologia”, естественно, по-итальянски.

М.Я. Вайскопф достаточно подробно изложил и проанализировал статью Жаботинского именно на фоне текстов В. Шкловского, поэтому мы здесь приведем его рассуждения в интересующей нас части полностью:

«В англо-американской позднеромантической традиции ему импонировал, кроме прочего, дух здорового авантюризма, жажда приключений, присущие как элитарной, так и массовой беллетристике. Возможность вплотную и, так сказать, из первых рук ознакомиться с нею Жаботинский получил в эпоху Первой мировой войны, когда служил английским корреспондентом “Русских ведомостей” – лучшей и авторитетнейшей русской газеты того времени. Житейским аналогом этой книжной романтики стали для него в те же самые годы участие в деятельности еврейских добровольческих отрядов и упорная борьба за создание Еврейского легиона, который должен был, по замыслу Жаботинского, закрепить за еврейским народом моральное право на возвращение в Палестину.

15 января 1917 года он опубликовал в “Русских ведомостях” статью “Фабула”. В ней излагается беседа между неким английским писателем, “хорошо знающим языки, и в том числе русский”, и двумя его спутниками – самим автором и безымянным “русским инженером, поселившимся здесь с начала войны по делам военного снабжения”. Писатель с жаром отстаивает фабульность, действенность, живую занимательность настоящей литературы – в первую очередь литературы английской (точнее будет сказать, англо-американской): “Мы остановились перед окном большой книжной лавки и засмотрелись на рождественскую литературу. Там были сказки всех иностранных народов <...> был старый Фенимор Купер с Майн Ридом, Киплинг и Стивенсон, Шерлок Холмс, Золотой Жук и вообще масса книг с картинками”.

Писатель сказал, когда мы пошли дальше:

– Вот вам один из секретов здоровья нашей расы. Можно бранить нашу повествовательную литературу как угодно... но она в общем сохранила одну общую черту, которой я придаю огромное значение: фабулу. Прообраз всякого эпоса есть сказка, и как бы ни вырос, ни развился впоследствии роман, опасно для него отрываться от этой основы

своей <...> В повести должно быть действие, должно быть событие, которое можно рассказать своими словами <...> Теперь в моде музыка без мелодии и роман без фабулы; для русского или норвежского писателя сочинить повесть с обилием событий значит прослыть моветоном; напротив, надо, чтоб действия было поменьше, но зато чтобы подробно были перечислены все оттенки душевного состояния человека, которому скучно. Я – старовер, и, слава Богу, мы все в Англии староверы: за исключением единиц, мы такой литературы не читаем. Мы все еще любим книги, в которых люди борются, изворачиваются, достигают или теряют, переживают реальные факты, а не только свои переживания, и даже иногда убивают себя или других <...> Что меня из себя выводит, это возня с психологией зауряднейшего европейского господина в зауряднейший момент его жизни <...> Писатель без фантазии не есть настоящий писатель, и время это докажет. Каков бы ни был его успех сегодня, он будет впоследствии забыт, между тем как книги фабулы будут жить вечно <...> Конечно в “Дон Кихоте” главное – психология героя. Но вспомните, что во всем романе нет специально ни одной психологической странички. Вы узнаете Дон Кихота только в действии, в похождениях и приключениях, которые гораздо ярче и убедительнее рисуют его характер, чем могло бы сделать это самое подробное описание его настроений <...> Эпос без фабулы есть ошибка <...> Вы мне не назовете ни одного произведения повествовательной литературы, выдержавшего столетний ценз, которое не обладало бы хорошо развитой фабулой.

В качестве образцового отечественного носителя фабульного начала здесь выведен современный герой (сам поведавший о своих приключениях). Собеседник Жаботинского рекомендует его так: “В той витрине я заметил книжку Паттерсона “Людоеды на р. Саво”. Это одна из популярнейших книг у английских спортсменов. Автор был инженер и строил железнодорожный мост через р. Саво в Уганде. Там появились львы-людоеды, и он убил восемь штук между делом, в перерывах между прокладкой рельсов. Человек такого закала есть наш любимый национальный тип» [7, с. 216–228].

Как и всегда в разговоре о Жаботинском, хоть и в связи с русской или английской литературой, необходимо помнить о сионистском контексте жизни и творчества Жаботинского. В этой связи исследователь продолжает:

«Стоило бы только прибавить, что этот самый Джон Генри Паттерсон – к которому мы еще вернемся – был в тот период главным сторонником Жаботинского в деле устройства Еврейского легиона, а до того командовал еврейским подразделением в Галлиполи. Вскоре после “Фабулы”, в том же, 1917 году, Жаботинский и Чуковский опубликовали в русском переводе его мемуарную книгу “С еврейским отрядом в Галлиполи”. В “Фабуле”, адресо-

ванной русскому, а не еврейскому читателю, эта сторона его приключенческой деятельности, естественно, отсутствует – в отличие от “Слова о полку” (1928), где Жаботинский расскажет историю легиона и его создателей. А тогда, в 1917-м, и книга полковника Паттерсона, и статья Жаботинского были сразу же заслонены колоссальными историческими потрясениями» [7, с. 218–219].

И вновь, к основной теме:

«Остается неизвестным, какой именно английский пропагандист фабульности и панегирист Паттерсона подразумевался в статье. Возможно, то был Хагберг Райт, директор лондонского книгохранилища. Именно он, кстати, незадолго до того, в 1916-м, привез группу русских писателей и публицистов – В.Д. Набокова, К.И. Чуковского и А.Н. Толстого – в гости к Герберту Уэллсу. Вспоминая об этой поездке, В.Д. Набоков писал: “Райт – знаток России, он много раз и подолгу бывал в ней, прекрасно изучил ее литературу, перевел на английский язык несколько наших былин и народных песен”.

Но скорее всего, “английский писатель” Жаботинского – это персонаж вымышленный; и в пользу этой гипотезы можно привести несколько соображений. Во-первых, судя по “Слову...”, Жаботинский был о Паттерсоне наслышан уже к лету 1916 года, когда познакомился с ним лично, – то есть за полгода до рождественского разговора, изложенного в “Фабуле”. Рассказывая об этой первой встрече, Жаботинский уточняет: “Полковника Паттерсона я еще тогда (*летом* 1916-го года) лично не видел <...> Но слышал я о Паттерсоне много”<sup>25</sup>. Во-вторых, что еще важнее, те же именно мысли о фабуле, с тем же выводом – о том, что она являет собою залог “здоровья расы”, – Жаботинский и сам высказал примерно тогда же, когда свел знакомство с Паттерсоном, в статье “По театрам и т.д.” (опубликована в “Русских ведомостях” 6 августа 1916 года с пометой: Лондон, 31 июля). Там, комментируя современную английскую драматургию, а также массовую, “вагонную” беллетристику, он подчеркивает присущее им “богатство фабулы – фабулы в старинном смысле, вроде Робинзона или Майн Рида”, и прибавляет по этому поводу – на сей раз от себя самого: “Я... сказал, что эта любовь к фабуле наивной и яркой, это равнодушие к проблемам и психологическому углублению <...> все это, пожалуй, говорит о здоровье расы”. (Под “расой” Жаботинский здесь подразумевает нацию – смешение понятий, характерное для его эпохи: раса понимается здесь в английском смысле, как в выражении “the human race”, вовсе не одиозно и достаточно гибком.)

Так что, по-видимому, мы сталкиваемся в “Фабуле” с любимым приемом этого автора, который охотно влагал собственные речения в чужие уста, а себя оставлял на полях, довольствуясь ролью ненавязчивого полемиста или скромного слушателя<sup>26</sup>. В конце концов, высказанные в этом очерке пристрастия идеально совпадают и с открытыми признаниями самого Жаботинского. Ведь еще в 1901

году, в вышеупомянутой итальянской статье о Чехове и Горьком, он отчетливо дистанцировался от чеховской “литературы настроения” и унылой рефлексии, противопоставляя им “энтузиазм” и волю к действию<sup>27</sup>. А на склоне лет, в мемуарах, он снова поведал о своей неизбывной любви к энергичной, фабульной приключенческой литературе и антипатии к тяжеловесному психологизму: “Я не склонен углубляться в недра души – мое сердце жаждет фабулы (*libi khoshek ba'alila*)”.

В любом случае тема, еще в 1917 году заданная Жаботинским, обрела в России самую энергичную поддержку, но лишь спустя несколько лет – уже после окончания Гражданской войны, когда всю дебатировался вопрос о литературном освещении исторических катаклизмов и современности с ее стремительным ходом жизни.

Трудно точно указать и имя того, кто был военным инженером, который участвовал в разговоре, запечатленном в “Фабуле”. Важно, однако, что он солидаризируется с писателем, тоже выказывая расположение к “интересной”, то есть приключенческой, беллетристике – в противовес нудной “психологии героев с тонкими чувствами”. Уместно тут все же вспомнить, что как раз таким инженером, с марта 1916-го по сентябрь 1917-го работавшим в Англии, был Евгений Замятин. Позднее, в своих эссе о Г. Уэллсе, напечатанных в начале 1920-х годов, он, вслед за Жаботинским, также отдает предпочтение фабульно-авантюрной динамике, столь характерной для английского романиста; а его генезис – как генезис эпоса и романа в “Фабуле” – прослеживает к *сказке*: “Городские сказки есть: они рассказаны Гербертом Уэллсом. Это его фантастические романы”. И ниже: “В социально-фантастических романах Уэллса сюжет всегда динамичен, построен на коллизиях, на борьбе; *фабула* – сложна и занимательна. Свою социальную и научную фантастику Уэллс неизменно облекает в форму робинзонады, типического авантюрного романа, столь излюбленного в англосаксонской литературе. В этой области Уэллс является продолжателем традиций, созданных Даниэлем Дефо и идущих через Фенимора Купера, Майн Рида, Стивенсона, Эдгара По к современному Хаггарду, Конан Дойлю, Джеку Лондону”.

Другую сторону статьи Жаботинского – осуждение традиционной бесфабульности, понурой статики, царящей в русской словесности, – подхватывает в 1921 году В. Шкловский: “Старая русская литература была бессюжетна <...> действия... “события” было всегда мало”. Вскоре, в начале 1922 года, в рецензии на книжку Замятина об Уэллсе Шкловский [2, с. 428–430] еще энергичнее поддерживает основные положения “Фабулы” Жаботинского, хотя и на сей раз обходит молчанием имя ее автора, несомненно, одиозное для его круга по целому ряду причин, главной из которых был его воинственно окрашенный сионизм правого толка. (Уже тогда упоминания о Жаботинском в советской печати обычно сопровождалось бранными выпадами.)

Вдобавок к “Дон Кихоту”, на которого тот ссылался как на классический образец фабульности, Шкловский,

в полном согласии с Жаботинским, призывает обучаться ей прежде всего у англичан: “Русская литература не создала своего ни “Робинзона Крузо”, ни “Тулливера”, ни “Дон Кихота”. Русская литература работала над словом, над языком и бесконечно меньше, чем литература европейская, и в частности английская, обращала внимание на фабулу.

Тургенев, Гончаров – писатели почти без фабулы. <...> Мы презираем Александра Дюма, в Англии его считают классиком.

Мы считаем Стивенсона писателем для детей, а между тем это действительно классик, создавший новые типы романа и оставивший даже теоретическую работу о сюжете и стиле.

Молодая русская литература в настоящее время явно идет в сторону разработки фабулы. С этой точки зрения, всякая работа, освещающая нам английскую литературу, с этой стороны нам чрезвычайно дорога» [7, с. 216–221].

Между тем, вскоре после работы М.Я. Вайскопфа нам удалось показать, что основные идеи о соотношении сюжета и фабулы были не раз изложены Жаботинским в “Одесских новостях” еще около 1903 г. (*Altalena*. Вскользь // Одесские новости. 1903. Одесса. 28 декабря [8, с. 678–680]).

Попутно заметим, что названная исследователем итальянская статья *Vladimiro Giabotinski* о Горьком и Чехове нашла свое продолжение в серии статей в не самом известном одесском журнале “Вопросы общественной жизни”, где итальянская статья была продолжена текстами о Горьком, Леониде Андрееве, современном драматическом репертуаре под псевдонимом “В. Владимиров” [9, с. 34–67; 10, с. 197–205], который впоследствии не раз пригодится Жаботинскому.

Таким образом, глубина залегания предформалистического пласта рассуждений о сюжете и фабуле оказалась не менее 14 лет.

Интересно, что имена Шкловского и Жаботинского (причем, Жаботинского 1903–1904 гг.) оказались рядом 16 марта 1929 г. в ленинградской “Красной газете” (веч. вып.) в статье “О провинциальном читателе”. Тогда в борьбе против знаменитого формалистического гнезда Государственного Института Истории Искусств (где преподавали “старые” формалисты и учились их не всегда верные последователи “младоформалисты”) присяжные советские критики использовали сообщение старого пушкиниста Н.О. Лернера о том, что знаменитая серия пародийных писем от имени героев “Бездны” Леонида Андреева 1903–1904 гг., вызвавшая всероссийскую дискуссию, была написана В. Жаботинским. А читатели Леонида Андреева якобы соотносили себя и свои ощущения с переживаниями героев скандального

рассказа напрямую. И сказано это было сразу после “Гамбургского счета” и, понятно, перед “Юго-Западом”.

Спор же в статье “О провинциальном читателе” Зелика Штеймана шел как раз о том, что “настоящий” читатель полностью отождествляет себя с героем, а формальный метод Шкловского лишает читателя именно этой возможности [11, с. 386–400].

В наших терминах это означает, что “провинциальный читатель” становится полностью на сторону “фабулы”, пренебрегая соотношением между “фабулой” (как художественным выражением событий) и “сюжетом” (как реальностью, отраженной в тексте).

Впрочем, если в статье речь шла о давно забытой “Наталье Тарповой”, советской и даже предсоциалистической вещи, то именно полное соотнесение себя с героями и жертвами революции либо со строителями нового общества было абсолютно необходимо для советского читателя. Изучение же “материала и стиля” либо того, “как сделано”, в таком случае было действительно излишним.

Поэтому и стало необходимым для Шкловского изменить соотношение фабулы и сюжета, материала и стиля и даже назвать работу о В.В. Розанове “Сюжет как явление стиля”. А при включении ее в книгу “Теория прозы” (1925) текст обрел название «Литература вне “сюжета”». И эта динамика очень значима. Ведь вопрос о том, есть ли сюжет там, где, судя по всему, есть “фабула”, далеко не простой. Поэтому кавычки у слова “сюжет” в работе о Розанове, появившиеся в 1925 г., при исчезновении слова “стиль” в заглавии, требуют своего объяснения как раз на пути анализа динамики понимания Шкловским понятия “фабула”.

Если же мы предполагаем, что тексты Жаботинского не 1917-го, а 1903–04 гг. напрямую повлияли на куда более поздние теории Шкловского, то теперь уже пристально посмотрим на ход мысли Жаботинского исторически и последовательно. Тем более что здесь, в ранней одесской периодике, мы имеем вовсе не единичную догадку борзого журналиста, а последовательное развитие его мысли на протяжении почти целого года.

7 июня 1903 года *Altalena* объявляет анкету об упадке фантазии в рукописях молодых, хотя самому ему всего лишь 22 года:

“Утверждаю, что во всей той кипе рукописей начинающих авторов, которую я за полтора года прочитал, не было *нигде* ни проблеска фантазии.

Было часто хорошее воображение. Но воображение есть простая способность представить себе какой-нибудь отдельный момент в виде более или менее яркого образа.

А фантазия есть способность разнообразить эти отдельные моменты, группировать их в сложные, пестрые сочетания, желать богатый узор, выдумку, фавулу. Этой способности я и следа не заметил. <...>

Чувствовалось, что автор как будто и хотел бы рассказать чудесные, сказочные, неслыханные небылицы, но не мог. Не вышло. И он себе в утешение, не найдя оригинальной фавулы, постарался взять оригинальничаньем в манере изложения, в мыслях и чувствах героев» [8, с. 275].

Переводя все это на формалистический язык, можно сказать, что отсутствие материала было компенсировано цветастостью стиля.

Однако мы знаем, что будущие лидеры “Юго-Запада”, и по “Александру В.”, и по В. Шкловскому, прекрасно пользовались городским враньем в кофейнях, городскими байками и т.д. Но это уже следующее поколение.

А пока Altalena жестко выступает против тех, кто от недостатка фавульного мышления и фантазии находят выход в символизме: “Я и прежде, конечно, знал это явление бессилия фантазии *descau of lying*, применяя выражение Уайльда. Оно и прежде ярко бросалось мне в глаза при чтении д’Анунцио, а по-русски – господ Мережковского, Бальмонта, Гиппиус и братии”.

Не забудем, что в самом раннем и наиболее резком выступлении Шкловского “Воскрешение слова” речь шла о том, что противники символизма – футуристы – реализуют те потенции слова, которые только случайно проскакивали у символистов.

Но эта параллель может иметь и чисто историко-литературную природу. Поэтому идем дальше. Жаботинский пишет: “У меня возникло сопоставление этого литературного явления с аналогичными явлениями в жизни: не стало больше интересных собеседников. Мы живем в интересное время, события грохочут одно за другим с головокружительной быстротой, а разговоры наши в обществе тусклы и незначительны. Встречаясь, мы просим друг друга: расскажите что-нибудь интересное! Но никого не хватает даже даже на то, чтобы интересно приврать. *Decay of lying!*”

Продолжение последовало через три месяца.

Жаботинский назвал первую часть своей двухчастной статьи “*Des Marchens Ende*”. Здесь он дал выдержки из полученных им писем в ответ на старую анкету. А во второй части, как бы неожиданно, вспомнил о подаренной ему довольно символист-

ской, напоминающей отдаленно раннего В. Кандинского, о котором он писал и в “Одесских новостях”, и в “Вопросах общественной жизни”, картине “*Des Marchens Ende*” и перешел от этого названия к рассуждению о соотношении волшебной сказки и романтизма:

«Итак, “Не стало сказки”. “Упадок фантазии” – ведь это в конце концов значит то же, что и “конец сказки”.

Сказка была великое дело в жизни человеческой.

Сказка не должна была непременно говорить о лягушонке, под которым прятался принц, и вообще о таких вещах, которых не бывает на свете.

Ведь есть и такие сказки, где волшебного элемента совсем нет.

Но там, где не было волшебного, было все-таки необыкновенное.

Сказка должна была непременно говорить о необыкновенном».

И за этим следовал важный для наших рассуждений вывод:

“Сказка не могла рассказывать о том, что было записано в порядке дня, в расписании жизненных поездов каждого среднего человека.

Только то, что выходило из расписания, что перечило ему и вносило разнообразие в монотонную таблицу жизни, – только о том могла говорить сказка. Только о необыкновенном”.

Однако “сказка” в широком смысле осознается Жаботинским в очень широком контексте, который до разговора о Шкловском надо помнить.

“Для взрослых волшебная сказка умерла. Ее хотели возродить в виде кладбищенского романтизма прошлого века, но это было искусственно и не могло дать плода, как не дает его искусственный цветок, – не имело в себе веселящей крепости, как не имеет ее искусственное вино.

Оттого настоящая волшебная сказка оживляла человека, а кладбищенский романтизм сослужил ему совсем обратную службу: в эпоху жестокой реакции он отвлекал совесть трусливого поколения от задач жизни, баюкал спящих, не давая им очнуться от кошмара; несмотря на всю вражду Гегеля к романтикам, романтики были союзниками Гегеля в позорном подвиге усыпления.

Это была не сказка, всегда молодая и крепкая, а старческое переживание сказки.

Настоящая сказка, ее истинная душа уже успела воплотиться в другое тело”.

Здесь мы видим очень важный переход от собственно жанра волшебной или даже не волшебной сказки к

литературному произведению совершенно иного жанра, исторически в любых жанрах, которые, как уже мы видели и в упоминаниях Горького в статье о Горьком и Юшкевиче 1908 г., и в ранней статье по-итальянски о Горьком и Чехове, имеют отношение к высокой мечте, поднимающей человека над обыденностью, вырывающей его из “железнодорожного расписания” жизни.

Несколько утрируя можно сказать, что здесь мы имеем и будущее “остранение” Шкловского, и даже, хотя о прямом контакте здесь речь, похоже, идти не может, будущие идеи о вневходимости М.М. Бахтина.

“Фантазию” Жаботинский понимал так:

“<Сказка> ... не говорила больше о чертях, потому что в чертей никто не верил; но она заговорила о вещах, в которые все могли верить и которые все-таки были чудесны и необыкновенны.

Шиллер создал “Разбойников”, “Фиеско”, “Вильгельма Телля”, “Орлеанскую деву”. Байрон пронес перед людьми свою галерею могучих протестантов.

И опять люди слушали их с волнением и трепетом, и верили, и говорили:

— С нами этого не случалось, но это возможно, это бывает с людьми не нашей дюжины, с людьми более сильными и удачливыми.

Вот где была сказка того времени, настоящая сказка, говорящая не о немыслимом, но всегда о необыкновенном, о незаурядном, и тем благотворно волнующая стоячую воду в душе заурядного человека на пользу движения и прогресса” [8, с. 464–466].

Не будем забывать, что это написано за 20 лет до рассуждений Шкловского о фабуле и за 30 лет до его “Юго-Запада”.

Причем, напомним, рассуждения начала 1920-х гг. имели показанные М.Я. Вайскопфом прямые текстуальные совпадения со статьей 1917 г.

Поэтому нам представляется полезным проследить, не имели ли ранние тексты Жаботинского (вопрос конкретной передачи этих мыслей через конкретные тексты и общение, например, в кругу Горького в Берлине, мы сейчас оставляем на обязательное будущее, помня, что все интересующие нас тексты Шкловского относятся к 1920–1930-м гг.) влияния на работу Шкловского по трансформации теории фабулы, сюжета и перипетии от 1920-х гг. до самых поздних его книг.

Приведем одну параллель из входящей в “Гамбургский счет” статьи о Бабеле “Критический романс”. Мы имеем в виду проблему “железнодорожного расписания” порядка, внесения разнообразия “в

монотонную таблицу жизни”, которую должен разрешить или преодолеть своей фантазией настоящий писатель.

Шкловский в 1924 г. пишет: “Бабель жил, неторопливо рассматривая голодный блуд города. В комнате его было чисто. Он рассказывал мне, что женщины сейчас отдаются главным образом до 6-ти часов, так как позже перестает ходить трамвай” [3, с. 78].

Но и это не все. Даже саму писательскую технику Бабеля Шкловский рассматривал в терминах, очень похожих на те, что после разговоров о расписании использовал Жаботинский.

Шкловский в следующем же абзаце продолжал: “У него не было отчуждения от жизни. Но мне казалось, что Бабель, ложась спать, подписывает прожитый им день, как рассказ. Ремесло накладывало на человека следы его инструментов” [3, с. 78].

Однако рассуждение Шкловского о Бабеле, похоже, содержит в себе и розановский отсыл: “У Бабеля на столе всегда был самовар и часто хлеб. А это было в редкость”.

Сказано же это в стиле рассуждений Розанова о своем угле, чае с вареньем и т.п. буквально перед рассказом о тех самых одесситах, на основании рассказов которых и писал Бабель свои “Одесские рассказы”. Однако, как мы помним, рассказывание небылиц для “Александра В.” и было главным отличием настоящих левантийцев.

Поэтому следующая фраза Шкловского принципиальна для понимания проблемы сюжета и фабулы у Бабеля: “Сюда же ходил Кондрат Яковлев, еще кто-то, Я <выделено нами – Л.К.>, и заезжали совершенно готовые для рассказа одесситы-инвалиды и другие разные одесситы и *рассказывали то, что в них было написано*” [3, с. 79].

Таким образом, в отличие от традиционной фабулы, сочиненной автором литературного теста, здесь фабулой становится рассказ реального “одессита-инвалида” или просто “одессита”, а сюжетом – конкретная, но литературно обработанная реальная историческая ситуация.

В этом случае “фантазия” и “выдумка” писателя, которую необходимо превратить в фабулу, как бы выворачивается.

Так возникает новая литературная теория у того, кто сам слушал этих “одесситов” в доме Бабеля, откуда выносили замененные тремя точками “экскременты”. И это пример не только розановской откровенности и обнаженности, но и игра в стиль Бабеля, который одними и теми же словами говорит о звездах и триппере.

Шкловский заканчивает свою статью так:

«Русская литература сера, как чижик, ей нужны малиновые галифы и ботинки из кожи цвета небесной лазури.

Ей нужно и то, что понял Бабель, когда оставил своих китайцев <из ранних текстов – Л.К.> устраиваться, как они хотят, и поехал в “Конармию”.

Литературные герои, девушки, старики, молодые люди и все положения их уже изношены. Литературе нужна конкретность и скрещивание с новым бытом» [3, с. 84].

Итак, литературе нужна фантазия, знание новой реальности, скрещенной с новым бытом, и биография автора.

Теперь, до того как мы процитируем окончательную формулировку Жаботинского о соотношении фабулы и выдумки писателя, приведем рассуждение Шкловского о сюжете у Бабеля, которое он сделал в рукописном черновике одной из своих статей 1926 г.: «Литературные произведения Бабеля представляют собой небольшие куски прозы со слабо выраженным сюжетным построением. Вся установка их дана не на сюжет, а на *факт*, обычно на его жестокость или “неслыханность”, и на стиль в узком смысле слова, на способ описания. Как сюжетные построения вещи Бабеля при всей своей миниатюрности включают в себя вводные эпизоды. Это не означает, что Бабель умеет в малом дать многое, наоборот, это означает, что в силу отсутствия сюжетного построения Бабелю и в малом слишком просторно. Ему нужны бесчисленные случаи, чтобы заполнить свою вещь» [1, с. 525 (комментарий)].

Таким образом, если рассказы Бабеля уже “написаны” в реальном рассказчике, то автор не придумывает фабулу. Фабула – жизнь и образ того, в ком уже до Бабеля “написаны” его рассказы. Тогда случайный набор попавшихся писателю рассказчиков и дает бесконечный набор “примеров” или “фактов”.

Если бы сам писатель “выдумывал” своих героев и их приключения (т.е. фабулу), то способ “обработки” такого материала породил бы “сюжет и стиль”.

Однако это все писалось уже в 1920-е гг. И, главное, писалось после революции. Тут уже сами сюжет и фабула начали даже у Шкловского сливаться, переходя друг в друга:

«В настоящее время инерционное значение сюжета особенно выявилось, и деформация материала дошла до крайних пределов. Мы представляем себе борьбу классов нетипичнейшим образом, как борьбу в семье, хотя вообще семья классово однородна, по крайней мере, чаще всего.

Схема “два брата” в мотивировке “красный и белый”, вместо “добрый и злой”, продолжает у нас достаточно потрепанный анекдот о Каине.

Но от сюжета, и притом от сюжета фабульного, основанного на кольцевом построении судьбы героя, просто отказаться нельзя. Герой играет роль крестика на фотографии или щепки на текучей воде – он упрощает механизм сосредоточивания внимания» [12, с. 219]<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Эта статья “К технике внесюжетной прозы” отсутствует в разделе “Статьи, вышедшие в журналах Леф” в первом томе новейшего собрания сочинений Шкловского [2, с. 620–708], хотя текст входит в сборник Лефа “Литература факта” и напрямую относится к его идеологии. При этом в тот же том включена статья “Факт быта и факт литературный” из “Вечерней Москвы” от 14 декабря 1929 г., вышедшая уже после закрытия журнала “Новый Леф” [2, с. 999], а статьи из “Литературы факта” обильно приводятся в других разделах первого тома (ср. с названной выше «Литературой вне “сюжета”»). Это свидетельствует о принципиальной методологической разнице в подходах составителя [2] И. Калинина и нашем как к анализу, так и к группировке взаимосвязанных текстов Шкловского, не говоря уже о неприемлемости для нас самой идеи исключения тех или иных текстов из прижизненных комплексов (как в приведенном случае статей круга Лефа) или книг, ставших классикой русской литературы, типа “Гамбургского счета”, как это было сделано в книге 1990 г., отсюда и взят комментарий покойного А. Галушкина с указанием на это в новейшем издании (понятно, что ситуация 1990 г., вынудившая поступить так тогда, принципиально отличалась от 2018!). Однако в Собрании [2] “Гамбургский счет”, несмотря на механически перепечатанный комментарий замечательного историка литературы, приведен полностью и снабжен кратчайшей библиографией, которой, естественно, не было в книге 1990 г. А ведь этап работы с осью селекции при переходе к оси комбинации как авторских, так и комментаторских текстов является принципиальным для дальнейшего анализа текстов формалистов и их лидера. Таким же “авторским” и “калейдоскопическим”, хотя и отличным от И. Калинина образом, скомпонован коллективный трехтомник “Формальный метод” с неожиданным дополнением в подзаголовке “Антология русского модернизма”, под ред. С. Ушакина (раздел о Шкловском в трехтомнике тоже скомпонован И. Калининым), которым мы пользуемся для дополнения собрания И. Калинина с осознанной методологической целью. Оба эти многотомные издания построены в рамках так наз. “антропологического поворота”, где приводящиеся социальные, сексуальные, пост-колониальные и т.п. факторы превалируют над историей литературы и текстологией, приводя к очень прихотливым идеологически окрашенным композициям, часто совсем не сводимым друг к другу. Мы же остаемся в рамках академического историко-филологического подхода к предмету.

Это было в 1929 г., а в 1935 г. Шкловский, похоже, возвращался к традиционной терминологии: “Сюжетом в пределах данной статьи мы называем композицию, основанную на передаче определенной судьбы героя (фабула), определенного происшествия, а также на противопоставлении этого происшествия другому” [13, с. 226]<sup>11</sup>.

Может показаться, что к “Юго-западу” это определение сюжета прямого отношения не имеет. Однако этому умозаключению препятствует обобщающее название в рукописи “Южно-русская школа в борьбе за сюжетный стих и сюжетную прозу” [1, с. 538 (комментарий)]<sup>12</sup>.

Теперь можно обратиться к Жаботинскому на сей раз декабря все того же “фабульного” 1903 года. Вот окончательная формулировка: “Фантазия есть способность соединять разнообразные отдельные моменты, факты, события – в связную и сложную фабулу. Чем фабула разнообразнее, сложнее и при этом связнее, тем фантазия богаче” [8, с. 679].

В начале следующего 1904 г. судьба Жаботинского привела его уже в Петербург. Фабула его судьбы не в первый раз “осложнилась”.

Пришла пора газеты “Русь” и “Хроники еврейской жизни”. Собственно говоря, теоретических работ типа “Конца сказки” мы то ли не знаем, то ли они могли, как и приведенные здесь “левантийские” тексты, публиковаться в неизвестных нам органах печати под неизвестными псевдонимами.

Но, так или иначе, неизвестный генезис идей зрелого и как бы не формалистического Шкловского наметить, похоже, удалось.

И здесь хочется понять, как же устроена эта “фабула”, есть ли она конкретный или конкретные человек/люди, есть ли, например, “фабула” П. Сторицына (одного из этих одесситов-рассказчиков), которых называет сам В.Б. Шкловский и не только он?

Ведь имя П. Сторицына все время мелькает в работах о формалистах и Бабеле.

Есть это имя, например, в плане мемуарной книги Ю.Н. Тынянова 1929–1930 гг. (т.е. сразу по выходе “Гамбургского счета”), где упоминается, естественно, и Шкловский:

“Шкловский.  
Мандельштам.  
Каменский.  
Роман Якобсон.  
Трубка гр. Толстого.  
Зоценко.  
Скоморохи (Миша Сорокин, Сторицын, Стенич и др. Зубакин).  
Замятин.  
Щеголев. Чуковский” [14, с. 348–349].

К интересующему нас месту дается комментарий: «Насколько можно представить, Тынянов с его склонностью ко всяческой деканонизации, снижению и пародированию снабдил бы свои “портреты” и “новеллы” немалой дозой острающей иронии. В списке прототипов есть те, к кому он относился по тем или иным основаниям отрицательно, – П.Е. Щеголев, В.О. Стенич, названный в одном из писем Шкловскому “самым настоящим Кижэ” <...> Эта неприязнь восходит, по-видимому, к каким-то ранним впечатлениям, высказанным в разговоре с Каверинным об известной статье Блока, когда Тынянов настаивал, что Стенич не денди, а сноб. <...> Легко предположить, что замысел подразумевал и связь Стенича и П.И. Сторицына с их “старшими” литературными спутниками – соответственно с Зоценко (названным в программе как раз перед “скоморохами”) и Бабелем» [14, с. 350].

Однако покойный исследователь к моменту публикации статьи не знал случайно попавшие к нам стихи В. Стенича из рукописного сборника, где было четко и ясно написано: молодой поэт сознательно обманул Блока, сменив свой френч на фрак и сыграв денди, став при этом отрицательным героем “Русских денди” [15, с. 65–72], т.е. создав свою фабулу/сюжет несуществующей в реальности судьбы.

Таким образом, Тынянов точно знал, что говорил, возможно, зная и соответствующие стихи или рассказы Стенича. Не будем сейчас вдаваться в проблему, что здесь фабула, что сюжет. Однако процесс превращения жизни в прием просматривается здесь явно. Кроме того, если Тынянов и хотел что-то писать на эту тему, то Бабель здесь, в отличие от Зоценко, отсутствует не случайно. Любой текст такого рода о Бабеле стал бы соперничеством со Шкловским либо пародией на него. А вот пример Стенич-Зоценко с

<sup>11</sup> И эта статья 1935 г. “Сюжет в стихах” не входит в [2], а потому не может стать и комментарием к процитированной ранее статье Шкловского “О прошлом и настоящем” 1937 г. Если отсутствие этих статей негласно мотивируется наличием их в антологии С. Ушакина, то последняя к составу [2] отношения не имеет. Равно как трудно объяснить отсутствие в первом томе [2] и самого “Юго-Запада”.

<sup>12</sup> Вот где всплыл в сознании Шкловского, но не менее сознательно был оставлен в рукописи и не предан тиснению старый одесский термин, о котором мы говорили ранее в связи с Шенгели и Багрицким.

упоминанием Сторицына позволял избежать неудобства.

Между тем, все было, похоже, не так просто. В марте 1925 г. К. Чуковский записывал в “Дневнике”:

«В воскресенье был у меня И. Бабель. Когда я виделся с ним в последний раз, это был краснощекий студент, удачно имитирующий восторженность и наивность. Теперь имитация удастся хуже, но я и теперь, как прежде, верю ему и люблю его. Я спросил его:

— У вас имя-отчество осталось то же?

— Да, но я ими не пользуюсь.

Очень забавно рассказывал о своих приключениях в Кисловодске, где его поместили вместе с Рыковым, Камневым, Зиновьевым и Троцким. Славу свою несет весело. “Вот какой анекдот со мною случился”. Жалуется на цензуру: выбросила у него такую фразу: “Он смотрел на нее так, как смотрит на популярного профессора девушка, жаждущая неудобств зачатия”. Рассказывает о Петре Сторицыне: Сторицын клеветает на Бабеля, рассказывает о нем ужасные сплетни. Бабель узнал, что Стор. нуждается, и решил дать ему червонец, но при этом сказал:

— Деньги даром не даются. Клеветайте, пожалуйста, но до известного уровня. Давайте установим уровень.

Лиде Бабель не понравился: “Не люблю знаменитых писателей”» [16, с. 337–338].

Нетрудно видеть, что не так уж просто сочетать сведения Чуковского и, например, рассказанное в “Гамбургском счете” Шкловским. И тут третьим быть очень сложно, если возможно.

Теперь обратимся к Шкловскому, хорошо понимавшему, что такое жизнь художника как прием.

Интересно сопоставить сказанное здесь с недавней публикацией Р.Д. Тименчика: «В 1920-х в Ленинграде Сторицын задумал издать книгу мемуаров “Мои американские горы”. <...> Книгу поддержали Виктор Шкловский и Борис Эйхенбаум, но К.А. Федин отверг рукопись как неготовую. Со слов Сторицына говорили, что “эти рассказы прочитал Горький — он похвалил в них живость и своеобразие интонаций, но печатать не советовал”» [19, с. 107–108].

Это перекрестье имен и позиций само по себе заслуживает анализа на фоне писания еще докнижных вариантов частей “Гамбургского счета” да и самой книги. Кроме всего прочего, поражает и еще один факт. Как сообщает исследователь, “Рукопись (1939) хранится в фонде Виктора Шкловского (РГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 898)”.

Наш сюжет закруглился поразительным образом: в архиве Шкловского хранится рукопись Сторицына, датированная годом ареста Бабеля (15 мая 1939 года).

Так “фабула готовых рассказов Бабеля” завершила свое существование. Ведь писателя, использовал он рассказы Сторицына (за которого еще, похоже, пописывал стихи Э. Багрицкий) или нет, уже не было сначала в литературе, а потом и на свете.

Была ли рукопись Сторицына в архиве Бабеля, мы, по понятным причинам, не знаем.

\* \* \*

В заключение обратимся к книге В. Шкловского “Энергия заблуждения” с подзаголовком “книга о сюжете” 1981 г., к главе 6-й — “Сюжет, перипетии и фабула. Пародирование, переосмысление сюжета”.

Вот слова старого Шкловского:

“То, что мы называем сюжетом, это хорошо найденная форма анализа предмета и рассказа о предмете.

<...>

Постепенно эта система становится жесткой.

Это точная и верная живопись века; но века тоже проходят. <...>

Итак, мы видим и знаем, что сюжеты сказок, новелл, романов и даже газетных сообщений повторяются<sup>13</sup>, — они не повторяются, а по возможности изменяются, точнее отражая жизнь.

Но для точности приходится выбирать способ расположения материала, который одновременно и формирует материал и, к сожалению, ограничивает материал.

Он навязывает нам для темы подходящие слова” [18, с. 93–94].

То, что сделала эпоха и со Шкловским, и с Жаботинским, и с Горьким, и с Бабелем, и даже с Заславским — мы знаем не из “Гамбургского счета”. И никуда уже не деться от этого фабульного сюжета с закольцованной революцией судьбой ее героев и теоретиков с их правотой и заблуждениями.

Но будем помнить, что еще в 1924 г. Шкловский в письме от 22 октября Ю.Н. Тынянову и Б.М. Эйхенбауму писал: “Статью о сюжете не знаю, как писать. Право слово, лучше, если Жирмунский. Я ведь себя не изучал. Целую всех. Вас всех. Приеду плакать у Вас на груди. Пишите теоретические письма. Мы отвечаем за свое время. Виктор” [19, с. 211].

Это было тогда, когда казалось, что “Гамбургский счет” в литературе еще возможен, “борцовские поединки” могли запрещаться и разрешаться, не прекращаться навсегда, а писатель мог быть индивидуален и независим.

<sup>13</sup> Это важное замечание при анализе истории формализма как “газетно-литературного факта”.

И эти слова появились уже через три года после того, как в рецензии на “Anno Domini” А. Ахматовой (“Петербург”, 1921, № 1) Шкловский писал:

“В искусстве рассказывает человек про себя, и страшно это, не потому, что страшен человек, а страшно открытие человека. <...>

Человеческая судьба стала художественным приемом. Приемом.

Да, приемом.

Это я сейчас перерезаю пуповину и перевязываю пуповину рожденного искусства” [2, с. 434].

Именно процесс перерезания пуповины искусства и есть “формальный метод” с самого начала и до конца. Перерезать пуповину самого себя Шкловский не смог. Отсюда и тяга к художеству и в слове, и в жизни со всеми удачами и неудачами на протяжении многих десятилетий.

Закончим мы словами старого Шкловского с последней страницы “Энергии заблуждения”:

“Надо узнавать законы подчинения мысли, которая сама по себе даже не имеет веса.

Но трудно оторваться от старой дороги, кажется, наконец за поворотом заблестит море”.

Какие-то отблески этого моря, которые казались видными в конце очень старой южной, южно-русской и юго-западной газетной дороги Виктора Шкловского, мы и хотели здесь восстановить в их исторических правах.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шкловский В.Б. Гамбургский счет. Статьи–воспоминания–эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1990.
2. Шкловский В.Б. Собрание сочинений. Т. 1. Революция. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
3. Шкловский В.Б. Гамбургский счет. Л.: Издательство писателей Ленинграда, 1928 (репринт: Dusseldorf: Antiquary, 1986).
4. Кацис Л.Ф. Как “Великий комбинатор” Осман Ибрагимович стал Остапом-Сулейман-Берта-Мария Бендер-беом и Иоканааном Марусиздзе? // Литература в системе культуры. К семидесятилетию профессора И.В. Кондакова. Сборник статей по итогам международной научно-практической конференции. Москва. 15 апреля 2017 г. М.: АСОУ, 2017. С. 178–186.
5. Бабель И.Э. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990.
6. Вайскопф М.Я. Предисловие // Жаботинский В.Е. Чужбина. Комедия в пяти действиях. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2000. С. 5–14.
7. Вайскопф М.Я. Любовь к дальнему: заметки о русскоязычном творчестве Владимира Жаботинского // Вестник Еврейского университета. История. Культура. Цивилизация. 2006. № 11(29). С. 195–250.
8. Жаботинский В.Е. Полное собрание сочинений: В 9 т. Т. 3: Проза. Публицистика. Корреспонденции. 1903. Минск: МЕТ, 2010.
9. Кацис Л.Ф. “В. Владимиров” в судьбе и творчестве Владимира Жаботинского, 1902–1907 // Жаботинский и Россия: Сборник трудов Международной конференции “Russian Jabotinsky: Jabotinsky and Russia”, посвященной 130-летию В.Е. Жаботинского (Еврейский университет в Иерусалиме, июль 2010). Stanford University, 2013. С. 34–67 (Stanford Slavic Studies. Vol. 44. Ed. by Katsis L. & H. Tolstoy).
10. Кацис Л.Ф. “Русская весна” Владимира Жаботинского // Иерусалимский журнал. 2011. № 39. С. 197–205.
11. Кацис Л.Ф. “Бездна” Леонида Андреева: Атрибуция псевдонимных откликов 1903–1929 // Вопросы литературы. 2012. № 5. С. 386–400.
12. Шкловский В.Б. К технике внесюжетной прозы // Формальный метод. Антология русского модернизма / Под ред. С. Ушакина. Т. 1. Системы. Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 2016. С. 217–221.
13. Шкловский В.Б. Сюжет в стихах (В. Маяковский, Б. Пастернак) // Формальный метод. Антология русского модернизма / Под ред. С. Ушакина. Т. 1. Системы. Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 2016. С. 226–230.
14. Тоддес Е.А. К текстологии и биографии Тынянова // Тыняновский сборник. Вып. 9. Седьмые Тыняновские чтения. Материалы для обсуждения. Рига; Москва, 1995–1996. С. 338–368.
15. Кацис Л.Ф. В. Стенич. Стихи “русского дэнди” [Предисловие и публ.] // Литературное обозрение. 1996. № 5/6. С. 65–67.
16. Чуковский К.И. Дневник. 1901–1929. М.: Советский писатель, 1991.
17. Тименчик Р.Д. Opus magnum Петра Сторицына // Тименчик Р. Ангелы – люди – вещи в ореоле стихов и друзей. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2016.
18. Шкловский В.Б. Энергия заблуждения. Книга о сюжете. М.: Советский писатель, 1981.
19. Галушкин А.Ю. Неудавшийся диалог (Из истории взаимоотношений формальной школы и власти) // Шестые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига; Москва, 1992. С. 210–217.

## REFERENCES

1. Shklovskiy, V.B. *Hamburg Account. Articles–Memoirs–Essays (1914–1933)*. Moscow, 1990.
2. Shklovskiy, V.B. *Collected Works. T. 1. The Revolution*. Moscow, 2018.
3. Shklovskiy, V. *Hamburg Score*. Leningrad, 1928 (reprint: Dusseldorf: Antiquary, 1986).
4. Katsis, L.F. How did the “Great Combinator” Osman Ibrahimovic Become Ostap-Suleiman-Bertha-Maria Bender-bey and Iokanaan Marusidze? In: [Literature in the System of Culture. On the Occasion of the Seventieth Birthday of Professor I.V. Kondakov. Collection of Articles on the Results of the International Scientific and Practical Conference. Moscow. April 15, 2017]. Moscow, 2017. P. 178–186.
5. Babel', I.E. *Collection of Works in 2 Volumes. Vol. 1*. Moscow, 1990.
6. Weisskopf, M.Ya. Foreword. In: Jabotinsky, V.E. *An Alien Land. A Comedy in Five Acts*. Moscow; Jerusalem, 2000. P. 5–14.
7. Weisskopf, M.Ya. Love for the Distant: Notes on the Russian-language Work of Vladimir Zhabotinsky. In: [Bulletin of the Hebrew University. History. Culture. Civilization]. 2006. No 11(29). P. 195–250.
8. Zhabotinskiy, V.Ye. *Complete Works in 9 Vols. Vol. 3. Prose. Publicism. Correspondence. 1903*. Minsk, 2010.
9. Katsis, L.F. “V. Vladimirov” in the Fate and Work of Vladimir Jabotinsky, 1902–1907. In: Zhabotinsky and Russia. Proceedings of the International Conference “Russian Jabotinsky: Jabotinsky and Russia”, Dedicated to the 130th Anniversary of V.E. Jabotinsky (Hebrew University in Jerusalem, July 2010). Stanford University, 2013. C. 34–67 (Stanford Slavic Studies Vol. 44).
10. Katsis, L.F. “Russian Spring” by Vladimir Zhabotinsky. In: *Jerusalem Journal*. 2011. No 39. P. 197–205.
11. Katsis, L.F. “Abyss” by Leonid Andreev: Attribution of Pseudonymous Responses 1903–1929]. In: [Questions of Literature]. 2012. No 5. P. 386–400.
12. Shklovskiy, V.B. Formal method. *Anthology of Russian Modernism*. Ed. by S. Ushakin. Vol. 1. Systems. Ekaterinburg, Moscow. 2016. P. 217–221.
13. Shklovskiy, V.B. Formal method. *Anthology of Russian Modernism*. Ed. by S. Ushakin. Vol. 1. Systems. Ekaterinburg, Moscow. 2016. P. 226–230.
14. Toddes, Ye.A. To the Textology and Biography of Tynyanov. In: [Tynyanov Collection. Issue. 9. Seventh Tynyanov Readings. Discussion Materials]. Riga, Moscow, 1995–1996. P. 338–368.
15. Katsis, L.F. V. Stenich. Poems of the “Russian dandy”. Foreword and Publication. In: [Literary Review]. 1996. No 5/6. P. 65–67.
16. Chukovskiy, K.I. *A Diary. 1901–1929*. Moscow, 1991.
17. Timenchik, R.D. *Angels. People. Things in the Aura of Poetry and Friends*. Moscow, Jerusalem, 2016.
18. Shklovskiy, V.B. *The Energy of Error. The Book is About the Plot*. Moscow, 1981.
19. Galushkin, A.YU. Unsuccessful Dialogue (From the History of the Relationship Between Formal School and Government). In: [The Sixth Tynyanov Readings. Abstracts of Papers and Materials for Discussion]. Riga, Moscow, 1992. P. 210–217.